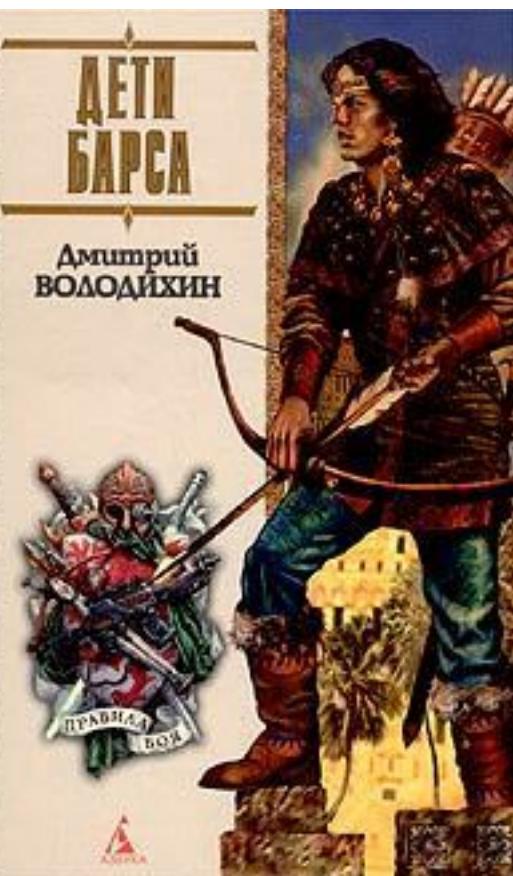


ДЕТИ  
БАРСА

Дмитрий  
ВОЛОДИХИН



Дмитрий Володихин

**Дети Барса**

«Автор»

1999-2003

**Володихин Д. М.**

Дети Барса / Д. М. Володихин — «Автор», 1999-2003

Место действия – некогда счастливая страна, раскинувшаяся меж двух великих рек, несущих свои воды через выжженную солнцем пустыню. Могущественное Царство, когда-то обласканное Богом, стоит на пороге гибели. Со всех сторон его осаждают беспощадные враги. Жизнь страны еще теплится лишь благодаря древнему мистическому завету. Власть над судьбой Царства попадает в руки юноше, почти мальчику. Ему предстоит возглавить войско, готовое встать на пути хаоса и разрушения.

© Володихин Д. М., 1999-2003  
© Автор, 1999-2003

## Содержание

Клинок Баб-Алона	5
Щит Агадирта	48
Конец ознакомительного фрагмента.	50

## Дмитрий Володихин Дети Барса

*В оный день, когда над миром новым  
Бог склонял лицо Свое, тогда  
Солнце останавливали словом,  
Словом разрушали города.  
И орел не взмахивал крылами,  
Звезды жались в ужасе к луне,  
Если, точно розовое пламя,  
Слово проплыvalo в вышине.  
А для низкой жизни были числа,  
Как домашний, подъяремный скот,  
Потому что все оттенки смысла  
Умное число передает...  
Патриарх седой, себе под руку  
Покоривший и добро и зло,  
Не решаясь обратиться к звуку,  
Тростью на песке чертил число.  
Но забыли мы, что осиянно  
Только слово средь земных тревог,  
И в Евангелии от Иоанна  
Сказано, что слово это Бог.  
Мы ему поставили пределом  
Скудные пределы естества  
И, как пчелы в улье опустелом,  
Дурно пахнут мертвые слова.*

**Н.С. Гумилев.**

*Дворец я покинул,  
Пошел воевать, Чтоб землю Гриады  
Эробсам отдать...  
**Фараон Эхнатон Правоверный***

## Клинок Баб-Алона 2508 круг солнца от Сотворения мира

*«Раб, будь готов к моим услугам». – «Да, господин мой, да», –  
«Восстание я хочу поднять». – «Так подними же, господин, подними.  
Если не поднимешь ты восстание, как сохранишь ты свои припасы?» –  
«О раб, я восстание не хочу поднять». – «Не поднимай, господин  
мой, не поднимай. Человека, поднявшего восстание, или убивают, или  
ослепляют, или осколяют, или схватывают и кидают в темницу».  
**Диалог господина и раба о смысле жизни***

*Энлиль судьбу властителя определил...  
**Гимн Шульги***

Луна покинула небесную таблицу.

Для нежного и холодного существа по имени Син несносны грубоватые ухаживания крепыша Ууту. В месяцы дождя и долгих теней этот неотесанный грубиян выступает не в полной силе. Его можно терпеть, можно даже оспаривать его право овладевать небесной таблицей изо дня в день... ибо изысканным натурам неприятна любая регулярность. Порою они подолгу ведут беседу среди бледнеющей тьмы. Она, высокая худощавая Син, осыпает мужлана колкостями, тонкие губы ее растянуты в презрительной усмешке... Он, кряжистый коротышка, мускулистый живчик Ууту, терпит ее издевательства, все пытается завести с нею дружеский разговор, но, конечно же, напрасно. В конце концов, он прекращает спор своей властью, поскольку именно он владеет временем света. «Уходи!» – повелевает он Син. Тогда ей остается только смириться и уйти в изысканные сады тьмы. Но для столь, неторопливой беседы требуются месяцы дождя и долгих теней. Сейчас другое время. Реки вышли из берегов, землю оживила плодоносная влага, но месяцы зноя еще впереди. Стоит второй месяц высокой воды; солнечный диск просыпается рано, жар его нестерпим для белой кожи Син. Уста его источают странный аромат, от которого хочется быть побежденной... Но Ууту и сейчас еще не в полной силе, лишь время зноя и коротких теней сделает его владыкой.

...Луна убежала с небесной таблицы.

Миновала последняя доля второго шареха. Во втором шарехе Син появлялась в виде сияющего серпа. В первом она юным серпиком шествовала между прочими небесными знаками. Наступила первая доля нового шареха, третьего. По ночам холодная красавица будет выходить из города теней в наряде полнолуния...

Каждую долю в Высоком шатре войска Баб-Ану сменяется командующий, а вместе с ним ануннак, дающий силу и мудрость его приказам. Три лугаля трех мятежных городов, три ануннака, чья сила безгранична... Что может остановить могучий Урук, священный Нишгур и богатый Эреду, когда силы трех великих городов собраны воедино? Кто устоит против них?

Лугаль Халаш, князь священного города Ниппера, откуда начался великий путь ануннаков-освободителей, занял кресло из черного дерева. В такую рань сюда не зайдет никто из тысячников. Войско должно отдохнуть перед битвой. Они устали. Долю назад подошли отряды из-под Сиппара. Гарнизон сопротивлялся до последнего, в рядах борцов Баб-Ану, осаждавших сиппарскую цитадель, не хватало теперь каждого третьего. Шарех назад пала дальняя Барсиппа. И тоже пришлось потрудиться. Пускай отдыхают. Возможно, сегодняшняя доля завершит все их предприятие. А ведь в самом начале риск представлялся столь высоким, а прибыль столь, сомнительной...

Халаш был родом из молодой семьи, еще два поколения назад не имевшей права защищать свою жизнь, свое имущество и свой скот в стенах ниппурской крепости, когда город осаждают врага. Даже за право торга приходилось платить! Теперь все переменилось. Ан! У твоих нет лежу я в пыли, тебе пою, твоей власти жертвуя лучшее. Ты дал мне сияние моши, какого не имеют и цари баб-аллонские. Ты возвысил меня и я слуга твой... Теперь все переменилось. Лугаль ниппурский, поставленный царем Донатом, мертв. Старые семьи унижены и смирились, а те, кто не смирился, пошли под нож. Праведники изгнаны из священного города, столичные чиновники-шарт скормлены псам. Молодые сильные семьи никому не уступят власть над Ниппуром. Ан! Послужим тебе до конца и совершим очистительный обряд над дерзким Баб-Аллоном, какой тебе понадобится. О, Ан!

...Его семья – из купцов, а еще того раньше они кочевали на самых границах Царства, не желая платить подати, рыть каналы и отдавать родичей в солдаты. Еще отец Халаша помнил те времена, когда старейшие никак не могли решить: осесть ли семье на земле ниппурской или сделать город своей добычей?

Лугаль раздувал ноздри. Привычка торговца: по запаху, исходящему от драгоценной ароматической палочки, определять, сколько сиклей серебра сейчас тлеет и превращается в дым? Напрасная трата. Да и весь этот поход следовало бы несколько... удешевить. Слишком много

запасных стрел. Люди дешевле бронзы! Слишком много провизии. Конечно, идем по землям союзников, негоже обижать славный город Киш. Но ведь война... Да и земля эта – не священная земля Ниппуря Кое-чем можно было бы и попользоваться.

Тонкий аромат перемешивался со смрадом, силился победить его и не мог. Полбеды, что всю ночь в шатре наслаждались друг другом буйные влюбленные, и запах их неистовых схваток все еще не выветрился. У звероподобного урукского лугала Энкиду на ладонях кожи не видно под шерстью, а его ануннак Иштар имеет странную привычку являться в обличье хрупкой девушки, на вид ему (ей? кто их поймет?) не дашь и пятнадцати солнечных кругов... Так вот, это полбеды. Но чем, великий Ан, так несет от его собственного, ниппурского ануннака Энлиля? Чем? Сколько мы с ним вместе, но привыкнуть невозможно. Сидит на другом кресле, из чистой бронзы, до чего же дорогая блажь! Пребывает в любимом обличье – человекобыка. Бычьего в нем – рогатая голова и... Разумный человек не обратит внимания, а женщины долго провожают взглядом. Никогда, ни единого разу Энлиль не прикрывал этого одеждой. Все, что угодно, Только не это. Ну хорошо. Бык. Но запах-то не бычий. Простая ходячая говядина пахнет привычно; вообще, скотина, она и есть скотина, пахнет она вся уютно, по-домашнему. Как можно не любить скотские ароматы? А этот... Только по видимости бычьей породы. Тянет от него чем-то неопределенным, но очень, очень опасным. Оно и понятна – ануннаки – сильный род, люди против них как псы против львов. И глаза – совсем не бычья. Когда Энлиль является в человекоподобном виде, нет в нем ничего необычного. А сейчас. Даже смотреть страшновато. Добро бы один стоячий зрачок, как у кота. А тут – по три таких зрачка в каждом глазу.

Энлиль заговорил. У него был голос зрелого мужчины. Глубокий, звучный. Но совершенно обыкновенный. Ничего особенного. Язык городов темного Полдня Он знал, похоже, с рождения. Все ануннаки говорят на полдневном наречии чисто и складно, точно выговаривая все слова. Впрочем, они также чисто говорят и на столичных говорах; никакой разницы – высокая эта речь или низкая. То же и с языком низкорослых эламитов. И даже редкие пришельцы с темной Полночи, люди-быки, чья мощь ужасает, говорят с ануннаками свободно, хотя их птичье щелканье, кажется, позабыто уже всеми со времен Исхода. У бородатых и черноголовых людей суммэрк, первейших слуг ануннаков, своя речь. Ануннаки понимают ее, а люди Полдня – нет... ну почти нет. Ведь все языки суть дети одного, старшего. Может быть, это речь людей-быков... Когда-то Халаш поинтересовался, как называется язык ануннаков в тех местах, откуда они родом. Энлиль засмеялся и в ответ издал странный басовитый гуд. Вот, мол, как называется. Запомни, мол, может, пригодится. ...Так вот Энлиль заговорил:

– В полдень к тебе придут послы от царя Доната. Они попросят вернуть Урук. И еще кое-что. Помельче. Наверное, Сиппар. Взамен предложат мир. Так вот, я советую тебе принять его.

– Советуешь или повелеваешь?

– Ты давно рядом со мной, ты знаешь, я никогда не приказываю. Я предлагаю взять что-нибудь и называю цену. Иногда я советую тебе, как лучше поступить. За это ты кормишь меня, поишь и приводишь ко мне жриц. Ну и славишь меня, согнув колени, когда потребуется.

«Как будто он из рода купцов, а не я», – досадовал лугаль. Странные боги. Не повелевают, а торгаются, втроем стоят целого войска, но ленятся поднимать оружие... Вот Энмешарра тот был да-а-а. Но для него не существовало своих и чужих. Он различал только то, что стоит на его пути, и то, что там не стоит... Энмешарра... Ан, что это было за существо? Бог?

– Господь Энлиль, если позволишь, я пренебрегу твоим советом.

– Нечего иного я и не ждал. Для нас не столь уж важно, что именно сегодня произойдет. Будет ли заключен мир, погибнет ли ваше войско...

– Войско борцов Баб-Ану, господь.

– Какая разница? От этого оно не перестает быть вашим.

Лугаль этого не понимал. Впрочем, важнее было другое.

– Господь Энлиль! Ты говоришь странные вещи. Либо мир, либо нас разобьют... Но сегодня у нас по два или даже по три бойца на каждого воина в царском войске. Время гла-венства Баб-Аллона закончилось. Царь Донат и его эбихи пришли к славному городу Кишу за собственной смертью...

Халаш мог бы добавить многое в пользу своих слов. Гордый Баб-Аллон взят в кольцо. Борцы не дают землепашцам набивать амбары зерном, палят ячмень на полях, отгоняют кочевников с Полночи, не позволяя им продавать скот. А великая река Еввав-Рат, по которой могли бы подняться к столице Царства торговцы рыбой, перекрыта кораблями людей суммэрк: им сполна заплачено серебром, тканями и драгоценными дощечками из кедра. В столице скоро начнется голод, если уже не начался.

Правда, упрямый лугаль Урнанши, владыка славного города Лагаша, отложившись от Царства, не пожелал присоединить свои силы к мятежной армии, и ануннака своего, Нинурту, не впустил за стену, не поселил в храме... За то и лишен сияния моци, Но ведь и в спину не ударил. Правда, Эшнунна осталась верной царю Донату... Но она далека от столицы и слаба. Правда, за Иссин пришлось заплатить полной мерой... Но это было давно, и раны мятежного войска затянулись.

С начала великого похода и до сих пор Творец пальцем не шевельнул, дабы защитить «излюбленных сыновей» своих. Неудачи одна за другой преследуют царя Доната.

– Послушай, лугаль. Ты ведь не дурак, хотя и низкого рода. Ты видел мою силу. Ты знаешь, как далеко я вижу. Я даю тебе хороший совет. Ни Иштар, ни Энки не пожалели своих лугалей, не сказали им ничего. Я – говорю. Я знаю, что ты еще можешь нам пригодиться.

– Но почему, господь? Мы побеждаем...

– Вы – никто. Пыль под ногами. Жидкая глина, которую научили шевелиться и не расплзаться в бесформенные груды. Ваша война – это битвы слепых и одноглазых. Слепые – вы. Царь кое-что понимает. То, что сейчас кажется победой, не более чем иллюзия собственной силы. Слышал ли ты когда-нибудь о пехоте ночи?

– Клинок царства? Последний резерв? Но их совсем немного.

– Даже если бы царь Донат не привел семьдесят, два раза по тридцать шесть ладоней воинов, то и одной пехоты夜里 было бы достаточно, чтобы разогнать ваш сброд. Слышишь ты? Их будет всего-навсего двадцать четыре раза по тридцать шесть ладоней, но вам – хватит. Нетрудно одноглазым убивать слепых...

Энлиль засмеялся. И насколько обычным был его голос, настолько же странным – смех. Словно камнем били о металл, не щадя ни того, ни другого. Лугалю захотелось уязвить ануннака. Есть на свете существа, которых боится и он. Во всяком случае, боялся когда-то.

– Господь, ты помнишь Энмешар...

Многое произошло в следующий миг. В шатре стало холодно, свет померк, а Энлиль исчез со своего кресла в мгновение ока. Сейчас же длинные и тонкие, как у женщины, пальцы с неженской силой сжали губы лугала.

– Ты! Как ты смеешь! – зашипел названный бог Ниппурा.

Тьма понемногу рассеялась, пропал и холод. Но рука ануннака все еще запирала уста Халаша.

– Послушай меня, дурак. Я как раз решаю вопрос: убить тебя сейчас же ради собственной безопасности или подождать?

Халаш сидел ни жив, ни мертв. Боялся пошевелить перстом, даже вздохнуть поглубже. С тех пор как выпал его жребий и жители освобожденного Ниппуря выбрали его своим лугалем, прочие же пять вождей ушли из стен города, вокруг головы, плеч и ладоней Халаша пылало радужное сияние моци – меламму. Такое же меламму было даровано Нараму из Эреду и Энкиду из Урука. Сияние тускнело, когда ануннаки выражали недовольство повелителями города, и, напротив, жарко вспыхивало, когда им нравились деяния лугалей. Не слова наглои

священной коровы, не тон, которым они были сказаны, не сила пальцев ануунака больше всего Халаша испугали. О нет. Долго пребывая рядом чем-нибудь величественным и страшным, понемногу привыкаешь... Но прежде не было такого, чтобы меламму превращалось из ослепительного ковра в сеточку из редких и тусклых блесток. Краем глаза лугаль видел именно это: ладони почти не светились. Как жутко, Ан, как жутко!

— Так вот, послушай меня. Ты — не простой человек. Ты лугаль. И слово твое полновеснее целой толпы слов, если они изречены любым из тех, кем ты правишь... Одни только имена, произнесенные тобой, могут вызвать из царства теней таких существ, от которых земля смеется с водой и небом, кровь зальет весь твой город на высоту человеческого роста, огонь пожрет все живое. И даже тридцати шести раз по тридцать шесть слов тебе не хватит, чтобы загнать их обратно... А мне, поверь, жалко город, призванный отдавать мне все лучшее, чем владеют его жители... Простофиля, обещаешь ли ты никогда не произносить имя, которое только что чуть не слетело с твоих уст. Если да, медленно кивни.

Если нет или если ты неискренен со мной, твоя голова утратит связь плечами... Мне нетрудно будет узнать самые потаенные твои желания, Халаш кивнул. Пальцы отпустили его губы. Когда ануунак уселся на свое место, лугаль разочарованно спросил:

— Но почему, господь? Ведь нам никогда не найти союзника сильнее...

Очень странно видеть смеющуюся корову. Рога чиркают по бронзовым фигуркам крылатых козлов, вставших по углам спинки кресла, как люди, во весь рост; струйки слюней брызжут во все стороны.

— Союзник? Страж матери богов — союзник тебе? Охо-хо. Да он в этом мире никому не враг и не союзник. Он просто — верная смерть. Для всех. Даже для меня. Я не знаю, как устроена его голова. Но тебя, меня, всех жителей Баб-Аллона, Урука, Ниппуря, Эреду, всех людей суммэрк, всех эламитов, да вообще — всех, он видит не как людей или живых существ, а как обстоятельства. Он не понимает разницы между тобой, медным ножом и пшеничной лепешкой. Охо-хо, союзник! Ты понял меня, лугаль?

— Да, господь.

— Ты ничего не понял. Ты не знаешь, что он такое. Я объясню тебе. Как ты думаешь, лугаль, кто победит: я или все войско славного города Ниппуря, если оно выйдет против меня?

— Победишь ты, господь...

Энлиль заглянул в глаза собеседнику.

— И все-таки ты ничего не понял.

— Я понял, господь. Нет никаких сомнений в том, что победишь Ты. Ничто не помешает тебе одолеть нас.

— Сейчас ты несколько приблизился к истине. Но почему, мой любезный лугаль, князь священной кучки халуп, мы, ануунаки, не бьемся народа царского войска? Отчего мы лишь помогаем вам, людям, но не делаем за вас всей работы? Ведь для нас это, как могло бы показаться, совсем не сложно? Втроем, полагаю, мы обратили бы в бегство намного более сильную армию, чем та, которую выставил сегодня Донат...

Халаш решил про себя: как только дела пойдут худо, он вызовет Энмешарру, как бы ни пугал ею Энлиль. Вызовет хотя бы ради того, чтобы этот насмешник вновь поперхнулся от страха. И пусть хоть вся благословенная земля Иллуруду от моря до канала Агадирт и Полночных гор вывернется наизнанку! Вслух же он сказал то, чего ждал от него ленивый бог Ниппуря:

— Я слепец, господь. Должно быть, я не способен разглядеть нечто важное.

«Иногда боги бывают ленивы, иногда жестоки, иногда глупы. Они как люди. Вот и все, чего я не вижу. Если: Творец не властен над всеми нами, то боги — это просто очень много силы» — так размышлял Халаш. Лицо его... Да что его лицо: дед Халаша, великий торговец, выделявал с лицом еще не такие штуки! Даже очень мудрые люди купят у тебя старого коня или большую овцу, когда у тебя умелое лицо.

– Ты слепец. На земле и в земле, на воде и в пламени костра, в кронах деревьев и в дуновении ветра иногда можно увидеть, услышать, почуять шаги судьбы. И отойти с ее дороги. Мы можем кое-что делать за вас по вашей же просьбе. Иногда. Но вступи мы в открытый бой с царевой ратью, на ее стороне сейчас же встанут существа посильнее нас. Тогда вся благословенная земля Иллуруду вывернется наизнанку… А теперь скажи, милейший, ведь ты хотел бы знать мое истинное имя?

Лугаль молчал, пораженный. Не сам ли Энлиль повторял ему не раз: правильно назвать суть вещи или человека – значит наполовину завладеть им… Зачем отдает он истинное имя свое? Желает убедиться в покорности лугала? Что не дерзнет он даже шагу сделать в направлении, откуда может грозить ануннаку опасность? Но ответить ему «нет», и все равно не поверит. Лугаль молчал, мудро молчал, даря ниппурскому богу выражение лица, поворот головы и застывшие на подлокотниках пальцы – совсем как у потрясенного человека. Лугаль молчал, будто бы пораженный.

– Действительно, не поверю, – молвил Энлиль, – но не столь уж это и важно. Имя мое таково, что использовать его мне во вред невозможно. Мое имя – цифра. Шесть раз по тридцать шесть и четыре. А имя стража матери богов – просто два. И мощь его во столько же раз, чтобы тебе было понятно, превосходит мою, во сколько шесть раз по тридцать шесть воинов и еще четыре сильнее всего двух. В наших краях так: чем меньше цифра, тем больше силы. А если ты не цифра, ты прах. Понял ли ты, благородный лугаль из погонщиков скота родом? Извини, запамятовал. Из скототорговцев.

– Господь, я внимательно слушал тебя. Уста твои…

– Уста мои как у коровы. И рога преогромные. Так вот, лугаль, представь себе того, кто встанет против него, против стража…

Халаш молчит. Кто встанет, тот и встанет. Не стоит бояться хорошей драки.

– …и что останется от земель и городов, которые станут знаками на таблице великой битвы… Со священным городом Ниппуром, например.

– Кто мы для вас, господь? Для тебя, для Иштар из Урука и для Энки из Эреду? Кто мы для вас? Зачем вы подняли нас в поход, если не верите в нашу победу?

– Кто вы?.. Вы – мертвые герои. Для Иштар и Энки лучше всего, если вы останетесь лежать здесь, на поле, недалеко от славного города Киша, как настоящие мертвые герои. Вам оставалось так немного до высоких стен Баб-Аллона… Ваши дети и ваша родня, я надеюсь, придут, чтобы отомстить за вас. Впрочем, по мне, так и трусы сгодятся. Если эти трусы достаточно ловки и сообразительны, чтобы заключить мир, когда им приносят его в дар. Пожалуй, этим трусам будет с чего начать потом, солнечных кругов через пять… или десять… Но, возможно, могучий лугаль, ты предпочтель остатся героем в памяти потомков? Как нерасчетливо!

Халаш утвердился в своем решении. О, Энмешарра…

– Господь, я слушал тебя и слышал тебя. Если не хочешь помочь нам победить, отойди и не мешай, Мы победим сами.

Коровья морда усмехнулась совершенно по-человечески…

\* \* \*

Когда царские послы, ничего не добившись, отправились восвояси, опустел и шатер командующего. Лугаль Урука Энкиду и лугаль Эреду Нарам ушли к своим войнам. Ануннаки, забыв о божественном величии, устроились на высоких пальмах – с комфортом наблюдать за ходом боя, ибо зрелище великого человекоубийства приятно для них. Халаш – велел вынести черное кресло на возвышение перед шатром. Вокруг него со брались бегуны – разносить приказы войскам, крепкие ниппурские воины в доспехах с медными пластинами и лучники народа

суммэрк – защищать жизнь лугаля, писцы с красками, кисточками и кусками пергамента – записывать деяния храбрых борцов Баб-Ану, обнаженные по пояс барабанщики – подавать войскам сигналы. В отдалении переговаривались командиры резервных отрядов в сияющих шлемах и дорогах одеждах – им предстояло в нужный момент по мановению руки Халаша устремиться в гущу сражения и добыть победу.

Между тремя лугалями было заключено соглашение: только один из них, а именно тот, кому подошла очередь, командует войском и принимает все решения на протяжении доли. Другие два знают обо всем важном, что происходит в эту долю, подают ему советы, спорят с ним, однако всегда подчиняются его приказам. Но лишь красавица Син стыдливо закроет свой лик, лугаль прежней доли склонит голову перед лугалем новой доли.

Так вот, исход сегодняшнего дела и всего предприятия мятежных городов полностью зависел от решительности и искусства Халаша ниппурского...

Лугаль обозрел равнину, черную от людей и приправленную искрами от оружия, блестящего на солнце, – как густая темная похлебка бывает проправлена маленькими ломтиками чеснока. Плохая, неплодородная земля. Торговец Халаш оценил бы ее очень низко: соляные проплешины тут и там, глина... Чтобы поднять се, потребовались бы усилия сотен крестьян и множество солнечных кругов. Слева – канал, древнее которого мет на земле Иллуруду. Столь широкий и столь глубокий, что кажется, будто прорыли его не люди, а гораздо более могущественные существа. Начавшись в Баб-Аллоне, тянется он от полноводного Еввав-Рата к славному породу Катар, а оттуда еще дальше – к великой реке Тиххутри. Весной Еввав-Рат бесится, заливая все вокруг, и Тиххутри спасает жителей этой земли, принимая в себя губительную силу паводка. Даже цари баб-аллонские не в силах чистить канал чаще, чем раз в сорок восемь и два года – так он велик. Берег его зарос высоким тростником, превратился в болото и приютил во множестве речных змей, чей яд убивает долго, но наверняка. Справа – другой канал, гораздо уже и мельче, но зато облицованный кирпичом, чистый. Строить царские мастера умеют, тут ничего не скажешь...

Ан, к тебе обращаюсь, нас ты научишь так строить?

...На том берегу, за каналом, во множестве росли финиковые пальмы. В поле колосился добрый ячмень... Месяц аярт, отметил про себя лугаль, скоро можно будет собирать урожай, жалко, осыплется, пропадет... да что же тут такого – пропадет? Это ведь не наше, это царское добро, пусть столица скрипит зубами от голода, пусть встанет на колени, попросит лепешку с отрубями, с травой пополам! Может, дадим. Не все же им из нас тянуть! А все-таки жалко, очень жалко, хороший ячмень... Белые поля хлебной рати перечеркнуты были черными клинками пожарищ. В прошлую долю конники жгли тамошние поля. Выгорело, однако, не много. Погода стояла безветренная, а все приканалье с той стороны разделено на небольшие участки маленькими канальцами, отходившими от главного, и дальше просто канавами. Огонь никак не желал перескакивать с участка на участок... Горелые и уцелевшие шесты водочерпалок-даллим укоризненными перстами торчали на канальцах тут и там.

Как раз посередине, между двумя каналами, белела пыльными колеями дорога из Баб-Аллона в Киш. Там, вдалеке, за вражескими отрядами, над нею высился безлесный холм. Там, наверное, тучи царских лучников, камнеметы – словом, вся радость... Даже несведущему в военных делах человеку ясно: кто владеет холмом, тот владеет сражением.

Тысячи пеших бойцов царя Доната III закрывали своими телами дорогу на столицу. С флангов поставлены были конные отряды.

Таблица этого сражения проявится гораздо позднее, когда поле между двумя каналами укроется одеялом из неуемых человеческих тел. Тогда каждый увидит, что было на ней начертано и кому назначена была победа. Но как тут не увидеть, как не понять с самого начала?!

роли борющихся сторон ясны. Войско мятежных городов – таранит, ибо обойти невозможно. Силы Царства встречают удар тарана и стоят до последней крайности, поскольку отступить для них – гибельно...

Еще ни Халаш, ни царь не подали сигнала, а тлеющий огонек битвы уже отыскал себе первую пищу. Поединщики, отойдя от своих отрядов подальше вперед, раззадоривали товарищ геройством. Лучники вяло обменивались подарочками, целя в командиров. На той, царской, стороне громко скрипнули деревянные механизмы камнемета. Лугаль не слышал этого, но он увидел, как тяжелая глыба набрала высоту, а потом ударила землю, немного не долетев до его воинов. Нестройный хор солдатских голосов в отдалении выводил гимн в честь царя и всего Царства, как всегда бывало перед большим сражением.

Уту стоял в сиянии всей своей огненной моши – не так, как будет в месяцы зноя, но все же воинам, изготавлившимся к бою, приходилось несладко. Тени исчезли.

Нет причин медлить.

Халаш поднял правую руку.

Сейчас же над полем поплыл барабанный гул. Пестрые знаний и флаги над головами борцов Баб-Ану колыхнулись. Пехота трех городов, стоящая в центре позиции, пришла в движение. Лучники выступили вперед и осыпали неприятеля стрелами. Большинство лучников мятежа – суммэрк. Лукавые люди, не любят меча не любят прямого боя сила на силу, зато стрелки из лука у них очень хороши...

Справа с гиканьем понеслась вперед конница кочевников, что живут на Полночь от Иллурду. Ох, как опасно было приводить их на эту землю! И без того их летучие отряды то и дело пронзают провинции Царства... Прежде столичные эбихи останавливали их всех... нет, не всех, конечно, но очень многих, далеко от цветущих городов Иллурду. В степях, где стоят оди-нокие крепости Царства, насмерть бились бабаллонцы вместе с провинциалами против диких всадников... Так было. Теперь, в смутное время, кочевники доходят до Урука, даже до Ура, даже до Страны моря. Изгнать их невозможно, покуда руки связаны борьбой с Донатом. Разве что вылавливать и отбрасывать назад самых дерзких... Или нанять. Многие сочли это неплохой идеей. Лугаль Нарам и ануннак Энки дежурили в ту долю. Нарам додал кочевникам половину платы за их мечи, обещал вторую часть после падения Баб-Аллона, принял трех тысячников с их людьми в войско и... приучил дикарей, что здесь они могут чувствовать себя как дома. Халаш был бы не прочь узнать после сражения о тяжелых потерях степной конницы. Об очень тяжелых потерях... Некоторые союзники беспокоят не меньше врагов.

Кстати, Нарам. Тоже родом из младшей семьи, бывшей в служении у храма. Оттого слишком умный. Все желает перемудрить Доната. Все с ануннаками спорит. Халаш не то чтобы знал, а нутром чуял: победа достигается не силой и не умом, не храбростью и не богатством, а... Ан знает чем. Чем-то таким, что способно связать и то, и другое, и третье, и четвертое воедино. Но как назвать такую способность? Опять же, Ан знает... Но перехитрить бабаллонцев невозможно: Иначе бы их перехитрили и растоптали шесть раз во тридцать шесть солнечных кругов назад или еще раньше. Нарам придумал попытать военного счастья новым способом. Посадил на колесницы лучников, прикрепил к ободам колес медные ножи и костяные шипы, а лотом уверял всех: мол, нагонит страху на царскую рать. Во-он они, его колесницы, домчались... а сзади держится конный отряд. Лошади дороги. Ох, как дороги лошади, расход ужасный! От Ура и Эреду на Полдень и до самых степных форпостов Царства на Полночь не найти удобного места, где их можно разводить. Так что почти все они – привозные. И ужасно, ужасно дороги.

Что там, вдалеке, справа и слева, не видно было Халашу. Побили кочевники царских конников или не добили? Нагнали страху колесницы Нарама или не нагнали? Пыль, поднятая копытами лошадей, встала непроглядной завесой. Далеко. Не видно. Прямо перед насыпью, на которой стояло кресло Халаша, пехота ударила о пехоту. Над полем стоял всеобщий крик сражающихся воинов и лязг оружия. Царские пешие бойцы построились ровными

рядами, выставив длинные копья. Когда падал один, на его место тут же становился копейщик из второй шеренги. Нападающие не имели никакого правильного строя. Толпы борцов Баб-Ану, словно множество роев рассерженных пчел, бились о стену щитов, кое-где проламывали ее ненадолго, но сейчас же вновь откатывались назад. Если бы Донат мог выставить равное по силе войско, центр мятежников был бы уже разбит. Но на равнине между каналами держало строй даже меньше бойцов, чем говорил Энлиль. Может быть, тридцать шесть раз по тридцать шесть ладоней. Может быть, сорок два раза Или, как считали полночные города по-старому, будучи еще под властью царя, тысяч восемь... Плюс немногочисленная конница. По четыре бойца Баб-Ану на каждого царского ратника. Халаш умел отлично считать. И счет говорил ему со всей определенностью: как бы умело ни сражались пехотинцы Доната, опора всей позиции, к вечеру их задавят числом, голой силой цифр, превосходящих другие цифры.

Если ты не цифра, ты прах...

С утра тени понемногу подбирают полы своей одежды, как люди, переходящие реку: все глубже, глубже, короче должны быть полы, иначе промокнут... Когда Ууту прямо стоит над землей и поливает своим жаром все живое, теней нет, полы подобраны к самому поясу Но потом становится не так глубоко...

Когда пальцы, тростник и фигуры людей стали давать крошечные тени, к Халашу явился бегун от Нарама. Перевел дух, опустился на колени, коснулся лбом земли.

– Говори.

– Высокий лугаль! Мой господин беседует с тобой моими устами... – Бегун перенял даже медлительную раздумчивую манеру Нарама. – Прямо за царской конницей большое болото, Халаш. Колесничих частью перестреляли из луков, частью же пропустили через строй, и они въехали в это болото. Конницы примерно поровну, никто не может одолеть. Дай хоть семьдесят две ладони бойцов, и я сломаю их. Я, Нарам, лугаль Эреду! сказал.

– Передай господину своему, лугалю Нараму, мои слова своими устами. – Халаш помедлил. – Бейтесь сами. Я, Халаш, высокий лугаль, сказал. Беги обратно...

Нет, он ничего не даст. Черная пехота еще не вышла на поле. Что решит потасовка двух жалких горстей конницы? Пусть убивают друга. Им есть чем заняться на этой таблице.

Вскоре к шатру прибыл второй гонец, от полночных степняков. Их, дикарского рода. Борода покрашена в лазурь. Соскочив с коня, едва наклонил голову и заговорил на певучем наречии кочевников:

– Бой не взят ударом. Бой возьмут мечи.

Ни слова не говоря, лугаль указал ему в ту сторону, где сражались прочие дики. Мол, сообщил и возвращаясь. Здесь выходило то же самое, что и у Нарама. Никто не опрокинул неприятеля. Теперь конники сошлись в неудобной и тесной сече. Там так узко, так худо для конного боя! С одной стороны – канал, с другой – кипение сражающейся пехоты. Не развернешься. Количество не сыграет роли. Тут либо одна из сторон переупрямит другую, а это вряд ли – и те и другие не любят отступать... либо... все решит пехота, и остается ждать успеха в центре.

Пока все шло, как и ожидал Халаш. Перед строем царских ратников лежало множество убитых борцов, но командиры мятежников приводили все новые свежие отряды. Бой шел своим чередом, перемалывая людей.

...Явился бегун от Энкиду.

– Говори.

– Высокий лугаль! Мой господин беседует с тобой моими устами... – Гонец сделал паузу и вдруг рыкнул изменившимся голосом:

– Я иду. Я, лугаль Урука, сказал.

– Возвращайся назад.

Должно быть, это очень страшно, подумал Халаш. Должно быть, это очень страшно, когда стоишь с копьем в шеренге, а на тебя идет чудовище с дубиной, усеянной каменными и медными шипами. Ибо именно такое оружие любит чудовище по имени Энкиду. Отсюда не различить, как повел своих людей лугаль урукский. Но в других боях Халаш бывал поближе и видел все своими глазами. Урук славится силачами, воины там хороши и любят меч. Однако это всего-навсего люди. И не более того. Их ведет за собой Энкиду. Их и... Очень редко люди бывают посланцами древних теней. Им нелегко среди сородичей, поскольку высокая тьма делает их нестерпимо дикими. Но силы в каждом из них – на трех человек, и звери идут за такими, как цыплята за курицей.

Вокруг гиганта с дубинкой, ослепительно сияющего своим меламму, прямо перед остальными урукскими пешими бойцами бегут степные львы и волки. И, добравшись до царской пехоты, звери будут сбивать ратников и рвать клыками. Не ради насыщения, а ради верности Энкиду. Тени слегка удлинили полы своих одежд.

Очередной заряд из камнемета поднялся над бьющимися пешцами и ударил в самое человеческое месиво.

У подножия холма строй ратников Доната стал понемногу прогибаться. Показалось? Нет, отходят. Отходят, отходят! Вот уже вступили на склон холма, им там неудобно драться. Как видно, добился своего чудовище Энкиду...

Медленно-медленно пешая рать Царства уступала поле боя мятежным городам.

Если Творец не пошлет чудо царю Донату, его дело погибло. В самом центре, там, где прогнулся пеший строй, Энкиду разрежет баб-аллонскую рать надвое И тогда – все, конец. Осталось подождать скорого и неотвратимого исхода.

Халаш прикинул: он бы сейчас рискнул последним резервом. Цари баб-аллонские всегда поступали именно так. Уже случались мятежи, да и тьма внешняя не раз бросала свои полчища к воротам столицы. Когда нечем больше остановить врага, очередной государь вынимает свой черный клинок...

Ну так что же, покажет ли Донат пехоту ночи? Пора бы. Еще чуть-чуть, и она станет бесполезной. Лугаль ниппурский так ждал этого момента. Так готовился к нему. Чтобы раз и навсегда. Чтобы прихлопнуть наверняка. Прихлопнуть и забыть. Сколько их там будет? Двадцать четыре раза по тридцать шесть ладоней пеших бойцов? У него наготове втрое больше людей, отборных. Давай, царь! Бей.

А!

И впрямь, на вершине холма показались воины. Последний резерв Царства выходил на поле. Все произошло так, как ожидалось. Что теперь? Теперь они ринутся вниз, сомнут урукцев Энкиду, продавят пешие отряды, вставшие за ними, и растеряют силу удара в этом бою. Вот тогда-то ими и займется резерв... Ну, давайте! Это так удобно – ударить сверху.

Пехота Ночи не двигалась с места. Но перед нею происходило нечто странное. Продвижение Энкиду замедлилось. Остановилось. Люди на вершине холма все еще не начали своего движения, а борцы, знаменитые урукские силачи, побежали вниз, оставляя склон. Только теперь лугаль ниппурский понял: пехота ночи поливала атакующих стрелами. Четыре тысячи лучников, которые, по слухам, будут так же хороши в бою на мечах, а если надо, устроят копейный таран, – что это такое, Халаш не знал. Никогда не видел. Сейчас они работали как лучники. Четыре тысячи стрелков...

Склон опустел. Теперь пехота ночи начала свое гибельное движение. Халаш увидел, как спускается во склону один черный квадрат... второй... третий... всего восемь. Восемь маленьких черных квадратов... Не ускоряя шага, будто и не нужна им сила удара, они добрались до подошвы холма и нырнули в кипящее море вражеской пехоты. Лугаль не мог разобраться, что происходит у него в центре. Никак не разглядеть...

— Сейчас разглядишь. — Энлиль стоял у него за креслом. — Ты еще не знаешь, лугаль, как это бывает, когда твоя судьба оказывается у тебя под носом? Сейчас она придет за тобой.

— Я готов, господь Энлиль.

— Ты слепой дурак, лугаль. Беги, пока ты еще можешь удрать отсюда. Мне удобно было вершить дела вместе с тобой. Мне незачем давать тебе дурной совет. Так вот, беги.

— Зачем тебе надо спасать меня, господь? Меня не нужно спасать. Но если бы и потребовалось, отчего ты так заботишься обо мне? Ты, воплощенный холод!

— Затем, что ты ценный и умелый дурак. Я истратил на тебя столько времени! Другие дураки, поверь, намного хуже. Нарам и Энкиду тебе в подметки не годятся. Беги, Халаш, беги! Мы еще приставим тебя к делу, мы еще возвысим тебя. Быть может, ты вновь станешь лугалем.

— Мне не надо им становиться вновь. Я государь Ниппира и останусь им...

— ...примерно семьдесят два раза по тридцать шесть ударов сердца. Столько тебе еще быть лугалем Ниппира, упрямец!

— Помоги или отойди, господь. Ануннак замолчал.

Халаш наконец понял, чья берет в центре. Черные квадраты разрезал пешие отряды борцов, как медный нож режет баранье мясо. Ни на миг царские бойцы не останавливались. За их спинами тянулись широкие коридоры, усыпанные трупами и телами умирающих. Следуя за ними, поредевший строй царских копейщиков шаг за шагом теснил растерявшихся мятеjkов по всему центру. Вопль страха набирал силу над пехотой борцов Баб-Ану...

Черные шли молча. Никаких кличей. Никаких гимнов. Этим не нужно ни кличей, ни гимнов.

Лугаль поднял левую руку. К нему подошел гуруш Нумеа, командир ниппурских пешцов. Туда, как и в отряд Энкиду, отбирали лучших, сильнейших, самых рослых. Им достались дорогие доспехи. Их обучили бою в сокнутом строю, как дерется баб-аллонская пехота. Каждый из них ехал на онагре, а не взбивал ногами дорожную пыль: силы этой рати сохраняли для решающе го сражения. Халаш показал Нумеа цель атаки. Ниппурцы двинулись навстречу черным квадратам.

Лугаль должен был закончить дело сам. Да, отец его был торговцем, и дед тоже был торговцем. Но у всей их семьи текла в жилах слишком беспокойная кровь, чтобы навсегда согласиться с чьей-нибудь властью. Изворотливая покорность купца так и не стала мэ для рода Халаша. Отец нездолго до смерти сказал ему: «Все, что ты получишь после меня, — грязь. По-настоящему дорого стоят только две вещи: уметь повелевать другими людьми и никогда никому не подчиняться. Никто не встанет над лугалем Ниппира. За власть и силу свою пусть умрет гордый Баб-Алон! Труп Царства будет лежать на этом поле...

Последний резерв мятеjkных городов поведет в бой он, лугаль священного Ниппира. Лучших конников, собранных в трех городах, от людей суммэрк, от эламитов и кочевников. Лучших из лучших. Их не меньше, чем бойцов во всех восьми черных квадратах. Они свежее, они рвутся в бой. И еще одно, главное. В отряд допустили только тех, кто крепко верит в пришествие Ана и его будущее воцарение. Эти будут биться за своего бога, а за богов люди боятся даже лучше, чем за собственную жизнь.

Черные квадраты разделили войско мятеjkных городов пополам. Ровно посередине. Они добились того, чего тщетно добивался звероподобный Энкиду. Не ускоряя и не замедляя темпа движения, пехота ночи двинулась навстречу ниппурцам. Стена щитов и копий со страшным грохотом столкнулась с другой стеной. Ровно миг держалось равенство сторон. Миг, не более. И миновало безвозвратно сразу после первого удара. Черная пехота прошла сквозь ниппурцев, никак не отличив этих воинов от всех прочих. Будто не лучшие бойцы священной земли противостояли им, а пьяный сброд, будто не было истрачено столько серебра из городской казны на их доспехи!

Халаш хотел ударить сбоку, когда ниппурцы завяжут бой с черной пехотой. Ничего из этого не вышло.

Конники едва успели тронуться с места, а ниппурского отряда уже не существовало. Дорогу им преградила бегущая, обезумевшая от ужаса толпа. Последний резерв лугала вынужден был остановить движение и пропустить беглецов.

Черные квадраты, разбив ниппурцев, остановились. Халаш и его конники стояли против них, изголовившись к бою. Лугаль видел пехоту ночи впервые. Так близко, что не составляло труда разглядеть лица. И это были лица людей совершенно спокойных и увереных в исходе дела. На них не читалось ни страха, ни гнева, ни даже усталости! Халаш понял, что на таблице битвы с самого начала было начертано его поражение. Он не сумел бы победить эти восемь квадратов, хотя бы встал против них со всей армией мятежных городов...

Сколько там ему осталось ударов сердца?

Халаш мысленно простился со званием лугала. Простился со своим прошлым, прошлым торговца. Простился с семьей. Его судьба очищалась ото всего, что не нужно для последнего броска. Древняя ярость, страшная, неукротимая ярость против всех, кто смеет возвышаться, полыхнула багровым пламенем. Энлиль! Ты никогда не поймешь меня. В тысячу раз лучше укусить и подохнуть, чем служить. Халаш хотел одного – дотянуться и ранить, убить, разорвать, как рвут людей львы Энкиду, Помоги, Ан!

Кто желает быть выше меня? Сильнее? Чище? Кто желает править мною? Кто желает посадить меня на цепь? Кто хочет, чтобы я отказался от ничтожной доли моей свободы? Умри!

Умрите вы все!

… Конную лавину на полдороги остановил дождь стрел. Воины падали, лошади переворачивались, топтали копытами своих, опрокидывались вместе со всадниками… Через барьер человеческих и лошадиных тел прорывались редкие умельцы – лишь для того, чтобы умереть на несколько мгновений позже. Бесполезное оружие рассыпалось по земле. Лучшие из лучших так и не смогли нанести удар.

Лугаль священного города Ниппуря слетел с коня, грянулся оземь, круги поплыли перед глазами. Его войско гибло, а он сам валялся в пыли и ждал смерти. Ан! Отчего я даже не дотянулся до них? Не достал хотя бы одного? Ярость все еще кипела в Халаше, мешаясь с бессилием.

Сквозь гул сражения, сквозь крики гнева и боли прорывались иные звуки. Гуруши черных отдавали короткие лающие команды, стрелы с ласковым шелестом искали податливую плоть…

Отчего я не ранил хотя бы одного из них?

Конники падали, падали, падали, а у черных лучников все никак не заканчивался запас стрел.

Да пусть же вместе с надеждой и свободой пропадет вся эта проклятая земля! Пусть не будет у нее хозяина!

– Иди ко мне, давай иди, Энмеш…

Энлиль, все еще стоявший на насыпи, облокотившись о кресло командующего, поднял бровь. Халаш получил страшный удар в голову. Надо же было агонизирующими лошади так метко приложить его копытом…

\* \* \*

Костер уже догорел, и только угли переливались багровым сиянием.

– Только три? Ты нашел только три стрелы изо всех? – Брови сотника Пратта изогнулись совершенно особенным образом. Если бы Творец – говорили эта брови, – явился бы прямо сейчас в сверкающих одеждах и заговорил громовым голосом, то и это не вызвало бы боль-

шего удивления. Рот, нос и щеки сотника никогда не были выразительнее пасти, носа или щек какого-нибудь онагра. Или, скажем, крокодила. Но брови собирали запас выразительности, предназначенный для всего лица. Бровями сотник гневался, ими же улыбался, они же выражали тоску, обиду, приязнь и желание выпить. Особенно хорошо получалось удивление. Небо не видело более живописного зрелища. Пратт во всем похож на медведя: велик, могуч, косолап, на редкость мохнат – и лишь аккуратно подстриженная бородка свидетельствует о том, что мишка вроде бы маскируется под человеческую особу. Очень и очень неумело маскируется. А голос – о! – всем голосам голос! Какие грозные рыки перекатываются в горле у сотника, когда он всего-навсего просит дать ему точильный камень или, скажем, хвалит местную сикеру – мол, знатное питье... Или, например, кормит коня каким-нибудь лакомством, дружески похлопывает скотину по морде, приговаривая совершеннейшую бессмыслицу, как и положено делать, когда разговариваешь с конями, любит он конягу, да и как его не любить, редкой крепости нужно существо, чтобы хребтина выдерживала этакую тяжесть, – так вот, сотник, значит, кормит-похлопывает-приговаривает, а конь прядает ушами и легонько пятится: хозяин-то хозяин, давно знакомы, да и говорить пытаются все больше по-человеччи, а все-таки до чего похож на медведя, того и гляди, лапы раскинет, заревет ужасно и загрызет до смерти... И уж совсем явным было родство сотника с медвежьей породой в двух других случаях: во-первых, когда он залезал в канал и отмывал грязь. Поглядев на Пратта, на пучки его мышц, на узлы их, потягивания и перекаты, даже самый драчливый драчун отказался бы от мысли хотя бы раз в жизни затеять спор с этим человеком. Задерет... И во-вторых, время от времени Пратт гневался. Действующему сотнику вообще всегда найдется на что гневаться, даже если рядом с ним отсутствует неприятель. Трудно представить себе в полней мере, какие именно слова и в каком количестве извергает глотка сотника, когда он видит покосившуюся коновязь. Вот, смотрите, коновязь, а вот вся ее родня, друзья-приятели, множество сопутствующих предметов, а также... как бы получше выразиться? – многочисленные нежные воздыхатели оной коновязи, способствовавшие приведению ее в покосившееся состояние. Важно не то, что говорит сотник в подобных случаях. Важно – как. А в самом деле – как? Да так, что любому серьезному медведю стало бы чертовски завидно.

А теперь Бал-Гаммаст нашел только три стрелы, израсходовав всю связку, и брови этого самого медведя собрались в кустистый треугольник, лапы, то есть руки, разошлись в жесте полного непонимания, и все медвежье тело сотника приняло такую неуклюжую позу, что непредубежденному человеку стало бы понятно без подсказок: да, если уж медведя довели до столь высокого градуса недоумения, то дело серьезное.

– Ну что ж, дело хозяйское, Балле... Ты не обычный воин, к чему тебе беспокоиться...

– А если бы я был обычным воином, твоим солдатом, Пратт, что бы ты сделал со мной? Высек? Лишил жалованья?

Медведь качает головой: мол, жалованье – святое, отбирать его хуже, чем выливать сикеру не в рот, а на землю, неужели мы изверги какие-нибудь?

– Побил бы?

Морщится. Может, конечно, и помял бы солдатские косточки для порядку, но болтать об этом – к чему? Хорошая собака не лает, а кусает. Нет, молодой человек, эту возможность мы утопим на дне болота.

– Э-э... ну а что?

– Ты нашел бы, помет онагрий, хоть половину связки. Не меньше. Через седмицу, через месяц, через круг солнечный, а все равно нашел бы. Клянусь бородой!

– Через месяц, Пратт? Врешь же ты, дедушка. Мы бы ушли от этого места, неужто ты специально отправил бы меня отыскивать стрелы? Да врешь же ты, дедушка! Видит Творец, врешь.

Медведище пожал плечам». Стояло бы рядом дерево, подвернулось бы дерево под медвежье плечо так дереву несдобровать. От единого неосторожного толчка рухнуло бы оно, как воин, павший на поле боя. Словом, Пратт пожал плечами энергично и укоризненно.

– Это мне ни к чему, салажонок.

– А-а? М-м-м? Что?

– Подсказываю: не важно, где бы ты нашел их…

– Все равно не понимаю, Пратт.

– Ты бы, помет онагрий, принес мне ровно столько стрел, сколько нужно, и сказал бы: «Так и так, отец мой сотник, нашлись». И я бы тебе ответил: «Так и так, сынок. Вижу я, ты стоящий солдат. Поэтому больше ты не будешь охранять казарму каждую ночь».

– А ты можешь заставить солдата караулить казарму каждую ночь? Пратт, а днем, днем ты дашь ему спать?

– Днем воины не спят. У них найдутся другие дела.

– Так как же».

– А как ты стрелы потерял? Получилось же как-то… Вот так и у меня получится. Я караульным могу поставить кого захочу. Послушай старого, в четырех местах продырявленного медведя, салажонок. Когда-нибудь, если Творец пожелает, тебе придется покруче обходиться с людьми, чем я. Покруче! Твои слуги, они ведь не стрелы будут искать… Стрела – что? Тыфу. То есть для сотника Пратта Медведя стрела, может быть, и не тыфу, а вот для тебя…

– Откуда ж их взять?

– Мне не важно, откуда ты их возьмешь, важно, чтобы они были. Укради. Выпроси. Найди другие стрелы на том месте, где их израсходовал другой лучник. Купи на свое жалованье, уж если ты такой же ленивый, как задница моей бабушки. А бабушка норовила не вставать, пока не случится пожар.

– Убедил, дедушка…

– Да не зови меня так! Мой хвост по земле еще не стелется.

– Меняю дедушку на салажонка. А стрелы пойду поишу.

– Нет, не пойдешь.

Бад-Гаммаст с понятным удивлением уставился на сотника. Не сходя с места, найти собственную стрелу, которая лежит-полеживает в трех сотнях шагов отсюда это настоящая задача для военного человека. Вероятнее всего, он еще недостаточно проникся духом, армии, а потому не совсем понимает, как оную задачу решить.

– Сумерки уже. Ты не сищешь. Я пойду, у меня глаз наметанный. На такие вот дела. Посмотришь потом, сколько ты должен был найти… Повернулся спиной. Сделал три шага. Бросил через плечо так небрежно, так мимоходом:

– А ты пока мясо достань из-под золы… Старый, хитрый, наглый, коварный медведь! И вот ведь как издалека повел дело, лишь бы самому в горячую золу не лезть. «Это мне ни к чему» салажонок…» Лукавый и косолапый медведище…

Мясо пережило бурную биографию, прежде чем попало в костище. Не столь уж важно, где оно паслось и кто его прирезал. Важнее другое: жестче этой барабанины Бад-Гаммаст в жизни ничего не пробовал. Сотник резал мясные ломти потоньше и клал их под конскую попону. «Объездив» нехитрый солдатский харч в течение дня, Пратт вынимал его, отмывал от конского пота и говорил: «Вот, дело. Было твердым, как кизяк, стало мягким, как дерымо». Потом обваливал мясо в глине, зажимал между двух плоских камней и закапывал в горячей золе. Довольно потирал руки и со значением поглядывал на Бад-Гаммаста: ясно, сейчас скажет: мол, тут не как с бабой, вынуть куда как тяжелее, чем сунуть…

Бад-Гаммаст потыкал мечом золу. Уголек подло выстрелил ему в руку. Здесь, кажется… Дым ласково потер ему очи. У-у! А с другой стороны? Э! Дым! Ты-то куда? Стой, где стоял! Э! Да что ж ты пристал ко мне!

...Сделав дело, он растянулся на траве. Это облако похоже на шлем. А это – на собаку с огромными ушами. А вон то – ну точь-в-точь как у корчмарки Ганы, две маленькие и упругие... м-м-м... совершенно не нужные... хотя, кажется, она посмотрела на него с особенным значением... как смотрят в таких случаях женщины? Наверное, вот так и смотрят... не важно... это все несерьезно... а это вот облако похоже на дом... раздвоилось... теперь оно совсем как скалы. А то – вылитый лев. А вон то напоминает маленькие и упругие... нет. Нет, нет и нет. Не думать. На задницу бабушки Пратта оно похоже.

Все началось с того, что папа сказал маме: «Я беру его в этот поход, Лиллу. Нет, Лиллу. Нет, Лиллу. Нет. Все равно – нет. Не рано. Да, Лиллу, решил. Без тебя? Ну да. Нет, Лиллу. Нет, любимая. Нет, дорогая. Нет, милая». В конце концов мама уступила. Но вместе с Бал-Гаммастом отправился и его воспитатель Лаг Маддан. „Тебе будет некогда присматривать за мальчиком...“ – „Конечно, любимая“.

Когда-то Маддан был великим полководцем. В далекой стране Ашишур он разбил тамошних знаменитых копейщиков. Однажды, будучи лугалем Ура, отразил набег кочевников. Перед мудростью его и опытом Бал-Гаммаста оставалось склонить голову. Да. М-м. Склонить голову и подождать, сколько требуется, пока Маддан не всхрапнёт в первый раз. Воспитатель любил рассказывать истории... С течением времени походы, битвы и осады слились для него в одну бесконечную историю, которую можно было рассказывать с любого места, поставив события в любой последовательности и добавляя ко всякому эпизоду присказку: «И поэтому мы их все-гда били и будем бить».

Так вот, на расстоянии одного перехода от Баб-Аллона солдаты упоили Лага Маддана до состояния, когда на месте одного вола мерещится тучное стадо и хочется поздравить его хозяина с необыкновенной плодовитостью коров... или коровы? Приплод-то весь вышел рыже-пестр и однорог... В общей слаженности действий Бал-Гаммаст почувствовал невидимую руку отца. «Какая жалость, – говорил потом папа, – столь достойный человек не сможет больше оказывать благотворное влияние на сынишку». Маддана, так и не вынырнувшего из глубоких сумерек, отправили обратно в столицу с почётной охраной из двух воинов. Бал-Гаммаст совершенно безо всяких на то оснований предположил, что охранники почтительно уговорят старика не возвращаться в армию, если тому и придет в голову такая идея, «Мэ, – наверное, скажут они воспитателю, – такая твоя мэ: отдохнуть от праведных трудов».

Отец позвал его и сказал, хмурясь:

– Я, знаешь ли, занят. Не могу держать тебя при себе, как раньше. Теперь за тобой приглядит эбих Лан. Это мой друг, к тому же отменно отважный и умный человек. Слушайся его.

Лан Упрямец, сам медведь медведем, подбирал себе охранников и слуг того же телосложения. Он отвел Бал-Гаммаста к себе в шатер и сказал ему:

– Н-да.

Помедлил и добавил с выражением необыкновенного глубокомыслия на лице:

– Вот.

Огромный, медлительный в движениях, Лан почесал подбородок и, кажется, нашел подход.

– Ну что ж. Давай с самого начала Сколько полетов стрелы пройдет пешее войско за день в знойном месяце абе, если будет идти от рассвета до заката и сделает один привал, чтобы поесть? Ах да, я забыл добавить, это наше войско, пехота Царства.

– Я не знаю, – честно признался Бал-Гаммаст.

– А если это будут эламиты?

– Я не знаю.

– Конница, полночные кочевники, месяц аярт?

– Я не знаю, эбих.

– Так... – Лан произнес это с некоторым удовлетворением. – Угощайся.

И он первым протянул руку к горке фиников.

До поздней ночи эбих рассказывал ему, какие переходы делает царское войско и отряды всех ближайших соседей Царства, сколько оружия они таскают на себе и кого из них легче застать врасплох во время движения. Где стоит принимать бой, а где не стоит. Кого лучше таранить копейщиками, а кого разметывать ударом из луков. Чем всадники на верблюдах страшнее обыкновенной конницы. В каких случаях без пехоты夜里 не обойтись... Иногда переспрашивал. Сам задавал вопросы, пытаясь убедиться в том, что его слушатель запомнил хоть что-то.

В конце концов сказал с удовлетворением:

– Слава Творцу, ты кое-что понимаешь. А теперь взглянем на карту...

Он развернул пергаментный свиток, от души раскрашенный разными цветами.

мы, Балле. Мятежники могут быть здесь... но вряд ли. Скорее здесь или здесь. Пешая разведка говорит, что они стоят в самом Кише, конная – что уже выдвинулись вперед. С утра мы с твоим отцом, эбихами Дуганом и Асагом прикидывали расстояние. Где выгоднее принять бой? Асаг полагает: они будут нас дожидаться на полпути... Почему? Надо быть онагром, чтобы занять ту позицию... Не-ет... мы с ними встретимся... встретимся...

Лан замолчал. Он нервно кусал ногти на пальцах левой руки. Пальцы правой руки перебегали по пергаменту от одного цветного пятна к другому... Глаза эбиха больше не видели ни шатра, ни карты, ни Бал-Гаммаста. Перед ним расстилались равнины, тянулись дороги, изгибались каналы. Пехота устало пылила навстречу смерти. Скрипели телега.

Молчание длилось не менее того времени, за которое взрослый мужчина смог бы минимум дважды, не торопясь, насытиться мясом, хлебом и чесноком. Наконец Лан вспомнил о существовании Бал-Гаммаста. Удивился. По глазам видно – удивился. Кто это у него в шатре? Ах да.

И позвал самого большого медведя из своих людей. Сотника Пратта.

– Э-э-э, сотник. Ты приглядишь за мальчиком. Я, знаешь ли, занят.

Сотник издал невнятное рычание. Кажется, сообразил Бал-Гаммаст, ему не понравилось возложенное поручение.

– Э-э-э, знаю. Но это очень смешленый мальчик. Рычание повторилось.

И тут эбих Лан Упрямец преобразился. Что-то в лице у него изменилось. И в позе. Впрочем, лицо, поза – куда ни шло. Но голос! Голос – как у другого человека. Спокойный, холодный, повелительный. Бал-Гаммас-ху захотелось поклониться. Хотя он с детства плохо умел кланяться.

– Сын мой сотник Пратт! Приказываю тебе неотлучно быть при мальчике. День и ночь. Сотню сдать Алангану. Отвечаешь головой.

– Да, отец мой эбих... – с удивительной членораздельностью ответил ему Пратт.

– Если захочет сражаться с мятежниками, позволишь ему. Дашь стрелять из лука и биться мечом. В копейную шеренгу не ставить – убьют. Если он получит хоть одну рану...

Эбих покачал головой. Не дай Творец, Бал-Гаммаста хотя бы оцарапают.

– Забирай! Каждый вечер – ко мне в шатер.

– Отец мой эбих...

– Что тебе?

– Отец мой эбих, за кого считать... м-м-м... его?

– За солдата. Так его отец велел. Все! Лан отвернулся к карте.

– Вот здесь.

– Что такое, Балле? – Слова эбиха помимо произнесенного вопроса содержали еще один, непроизнесенный: «Как, ты еще тут, малец?»

За спиной Бал-Гаммаста сотник тихо сообщил заднице собственной бабушки нечто исключительно важное.

– Вы встретитесь вот здесь, эбих Лан. – Палец Бал-Гаммаста уперся в точку на пергаменте, совершенно неотличимую от всех прочих. – Кажется, там должны быть холм и дорога.

– Бред Балле. Впрочем, твой отец почему-то говорит то же самое...

Так Бал-Гаммаст познакомился с двумя медведями за один день.

Сотник проследил за тем, чтобы подопечный лег спать пораньше, и на следующий день поднял его ни свет ни заря. Велел снарядиться, как будто к бою, и сесть на коня. Бал-Гаммаст натянул дорогой доспех, специально сделанный по его мерке и несколько облегченный. Закинул за спину охотничий лук, нацепил бронзовый меч и нож. Впрочем, меч был не намного тяжелее ножа. Взял в руки короткое копье. Возложил на голову шлем с золотой насечкой. А ведь хорош. Гана загляделась бы на него. Бал-Гаммаст представил себе, как она ходила бы вокруг него. Словно бы не обращая внимания, будто бы разговаривая с подружкой, есть у нее отвратительная подружка... так вот, ходила бы вокруг, не рядом, а на расстоянии, но не очень далеко, и бросала такие взгляды, ну такие, словом, как будто ей совсем не интересно, а на самом деле очень даже интересно...

Сотник Пратт Медведь ходил вокруг него и бросал такие взгляды...

– Слезай и снимай все это говно. Бал-Гаммаст подчинился. Пока он возился с доспехом, Пратт ласково беседовал с каждым предметом его вооружения:

– Этим говном не прострелить даже задницу моей бабушки. А этим говном свиньи не заколоть. А в это говно хорошо блевать: золото не тускнеет, начищать не надо...

Потом позвал солдата из своих и миролюбиво сообщил ему:

– Ты, помет, пальцем деланный, будешь следить за моим онагром и его конем. Пусть будут сыты и чищены как надо. Иначе шкуру спущу. А если ты их огорчишь...

И сотник покачал головой совершенно так же, как эбих Лан прошлым вечером. Доходчиво, иными словами.

– Мой конь! – не то чтобы испугался, а скорее удивился Бал-Гаммаст.

– Цыц, салажонок. Возьми барахло в руки. Повел его в обоз. Там отобрал все, чем так гордился Бал-Гаммаст, и выдал ему вместо этого тяжелое солдатское копье, круглый деревянный щит, обитый кожей, длинный меч и высокий лук, такой тугой, что с непривычки и не натянешь как следует. Взял еще два щита, старых, никуда не годных, зачем их только возят...

А вот зачем, оказывается. Сотник вкопал оба щита в землю – один поближе, другой поодаль. Может быть, даже слишком поодаль. Несуразно далеко.

– Ужин ты свой, салажонок, получишь. А может, и обед. Еще не знаю. А вот насчет завтрака сейчас поглядим. Давай-ка по ближней мишени... три стрелы. Давай!

...Тетива ударила по рукавице на левой ладони со звуком «таг!». Он едва сумел справиться с нею. «Таг!» Третья стрела все-таки застряла в щите. Бал-Гаммаст со значением посмотрел на сотника. Учили все-таки кое-чему. Не такой уж и новичок в военном деле. В его роду все мужчины имели талант к...

– Лучник из тебя, как из вола рыба... Теперь про завтрак. Я дам тебе его съесть, только если положишь в дальнюю мишень пять стрел из десяти. Начали.

«Таг!»

– Ветер! «Таг!»

– Ветер же, помет онагрий! «Таг!»

– Выше бери! «Таг!»

– Выше бери, и рука прямая! «Таг

– Попал, что ли? Нет. «Таг!»

– Руку держи вот так... вот так, тебе говорят! «Таг!»

– Опять про ветер забыл. «Таг!»

– Что, пальцы отбил? Терпи.

«Таг!»

– Олух. «Таг!»

– Плавно отпускай, не дергай. А! Все равно. Ни одной. Еда тебе не положена.

И заставил его весь переход проделать не на коне, а пешком, в общем строю. Месяц аярт – неудобное время для походов. Вода стоит высоко, все низменные места затоплены, приходится искать обходные пути по холмам, насыпям и прочим возвышенностям, вертеться, месить грязь... Бал-Гаммаст не сказал Медведю ни слова. К вечеру его ноги оказались сбитыми в кашу...

Эбих Лан Упрямец оставил дела. Он ждал. Бал-Гаммаст постарался не заснуть и очень постарался запомнить как можно больше из того, чем делился с ним третий человек в армии и восьмой – в государстве...

– Воспитателя поменять не хочешь, Балле?

– Нет.

– Очень хорошо. Пратт – достойный, отважный и умный человек.

– Да, эбих.

...Сотник осмотрел ему ноги при свете костра.

– Ну, помет онагрий, нормально.

Попросил у кого-то сухого воловья. Получил. Сначала сунул пучок дурно пахнущей травы Бал-Гаммасту Под нос и пояснил:

– Это говно мы называем воловьем. Волы от него болеют и дохнут.

Потом запихал траву себе в рот и долго пережевывал с видом человека, которому достался кусок нежнейшей телятины, да вот беда – сплошные мелкие косточки, так что приходится двигать челюстями с осторожным тщанием. Измельчил до кашицы и размазал по бал-гаммастовым ступням.

– На живот ложись, салажонок. Ну-ка.

Принялся мять ему икры, перебирать пальцами мышцы помельче, прошелся по всем косточкам. Для медведя у него были очень ловкие лапы. Он еще не успел окончить, а его подопечный уже спал.

О, Гана...

С утра пришлось отскребать беловатую корочку спермы от одежды.

Пратт подождал, сколько нужно. Молча. Все приглядывался к Бал-Гаммасту, ждал, как видно, когда тот схватится за руку или за ногу, когда, наконец завоет от сотни маленьких болей, угнездившихся в непривычном теле после вчерашнего перехода.

Не дождался. Не даст ему такой радости Бал-Гаммаст. Отчего они все думают, что у сына знатного человека непременно должно быть изнеженное тело? Творец видит, напрасно ты это, сотник...

Пратт не выдержал:

– Что, болит? Терпи, салажонок. Я старше, уставать должен больше...

– У тебя что-то болит, дедушка?

Даже самый придирчивый и наблюдательный знаток душ человеческих не сумел бы рас слышать в этих словах ничего, кроме безграничного уважения. Сотник покряхтел, глядя в сторону, и ответил раздумчиво:

– Я вот подумал, салажонок, почему мы вчера стреляли на один завтрак? Только задница моей бабушки знает почему. Сегодня будем стрелять на завтрак и на обед.

...Опять ни одной...

На третий день Бал-Гаммаст попросил Пратта Медведя:

Покажи, как правильно. Тот показал.

– Спасибо, дедушка.

Но это ничуть не помогло. Бал-Гаммаст отлично помнил, как сотник держал стрелу, как брал прицел, как отпустил тетиву. Но сам вновь не попал ни разу.

На обеденном привале, когда солнце палило нещадно, он был и был по мишени, был и был. Задерживал дыхание. Прикидывал ветер. Припоминал старые охотничьи уроки. «Таг!» – исправно лупила по пальцам тетива. Все, что он имел, кроме отца с матерью и собственного имени, отдал бы за одно-единственное попадание.

И в конце концов стрела поразила щит. Бал-Гаммаст изумился этому не меньше, чем если бы свинья заговорила человеческим голосом...

На пятый день он заполучил-таки завтрак и обед. «Так», – сказал Пратт. На шестой сотник отташил мишень полусотней шагов дальше.

– Благодарю за науку, дедушка.

– Я тут подумываю и насчет ужина, салажонок. По-моему, ты слишком медленно ходишь. Еда, что ли, тянет твою жопу книзу?

...«Tag!» – пел его лук каждое утро. И каждый вечер в шатре Лана штурмом брались города, сцеплялись в гибельных сечах летучие отряды конницы, а пехотинцы на бурдюках, наполненных воздухом, переплывали реки.

– Почему ты не показываешь мне, как биться на мечах, Пратт? Как управляться с копьем?

– Сопли научились говорить?

– Почему, отец мой сотник?

– Мечу тебя учили во дворце. Лучше, чем я научу. Копье – это не то говно, какое тебе нужно. Что ты, в первом ряду будешь с ним стоять? Копье тебе нужно как нитка жемчуга заднице моей бабушки... Научись-ка ты лучше ездить на онагре – так, чтобы бедная скотина от усталости не подохла, а твоя родная жопа не стала сплошной мозолью. Давай-ка. Завтра же.

Так один опекал другого на протяжении многих дней. Пока царское войско не сошлось с мятежниками на равнине между каналов. И была там дорога. И был там холм, с вершины которого Бал-Гаммаст и сотник Пратт Медведь рука об руку били из луков во вражеской пехоте. И был миг, когда смерть подобралась к ним совсем близко. Один не пожелал уйти, другой не предложил ему уйти. Не важно, чей сын мужчина. Не важно, сколь страшно ему впервые видеть ярость настоящего врага и вражеское оружие – все в красных капельках. Не важно и то, что четырнадцатый в жизни этого мужчины месяц аярт не дотанцевал своих жарких плясок, и лоно женщины ни разу не открывало ему своих незамысловатых секретов. Не важно. Куда важнее другое. Мэ воина – не выходить из боя, покуда командир не прикажет ему... Это намного важнее всей предыдущей жизни с ее весельем и горем, удачами и потерями, а также всей будущей жизни, с ее любовью и величием, службой и забавами, зрелостью и старостью. Возможно, не бывать никакой будущей жизни, а жизнь прежняя пресечется здесь и сейчас безо всякого продолжения. Но только мэ воина – не покидать места, где его поставили для боя...

Поэтому один из них мог уйти, но не ушел, а другой мог предложить ему уйти и даже почти должен был сделать это, но не предложил.

...Это облако похоже на крепостную башню. Это – на кота, вылизывающего лапу. А то – на головку чеснока. А если как следует присмотреться к во-он тому, да-да, именно... округлое... а какая плавная, ловкая походка... походкой выделяется... среди других облаков... и белизной... кожи...

– За костром следить надо, Гляди, совсем погаснет.

Пратт больше не тряс его за плечо. Творец прекратил день. Солнце пряталось за пальмами, тени робко покидали дневного господина и давали клятву верности луне. Тьмы заметно прибавилось. Мутно-багровое око земли и хотело бы закрыться, отдохнуть, но Бал-Гаммаст добавил сухой травы, веток, потом кое-чего покрупнее, и костер ожила, повеселел, оставил теплую дрему. Повсюду, справа и слева, спереди и сзади, острова огней мешали теням окончательно принять роль рабов луны.

– Вот. Столько стрел ты должен высокому Баб-Аллону, солдат Балле...

Восемь.

Что ему ответить?

– Мясо, отец мой сотник. Уже остыло.

Пратт не убирал руку у него из-под носа. Чего он хочет?

– Приглядись, помет онагрий. Давай посмотри, открай глаза пошире. У тебя глаза или две дырки от задницы?

Бал-Гаммаст сонно водил очами.

– Да ты слепее безголового. *Это два твоих первых*. Понял? Понял, откуда я их вытащил?

Две из восьми.

«Из задницы собственной бабушки, наверное… Надо же, и тут покойница подвернулась под руку… О!» Тут только он сообразил:

– Из мертвых тел? Из мертвецов, Пратт?

– Да, Балле. Из падали, которую сделал падалью ты сам, своими руками. Своими кривыми бестолковыми руками, солдат.

– А… сколько их там? Их там очень много?

– Отец мой…

– Их там много, отец мой сотник?

– Все поле, Балле. Там все поле, сколько видно, завалено падалью. Точно тебе скажет Упрямец или еще кто-нибудь. Давно такой жатвы не было. Жалко, много плохих мертвецов…

Сотник притянул к себе бурдюк с сикерой, разорвал; пополам черствую пресную лепешку и дал половину Бал-Гаммасту. Что ему бой? Какой по счету этот бой для него? Все поле завалено трупами, а он рвет зубами барабану…

Бал-Гаммаст прислушался к себе. Убил двух человек. Или больше, кто их теперь считает? Там, за пригорком, все поле от канала до канала, от холма и до… что там было? Какая разница… – все-все заброшано телами мертвых и умирающих. Плохо ему от этого? Страшно? Как ему? Да никак. Творец, прости мне, я ничего не чувствую. Хорошо, что жив. Я тебя очень люблю, Творец, прости меня, я так стараюсь пожалеть тех, кто там лежит, а ничего не выходит. Мне не жалко даже тех двух… Почему так получается, Творец? Прости мне это, пожалуйста. Когда дрался с сыном эбиха Асага, мы потом оба были в крови. Себя было жалко, и его тоже. И все на нас смотрели: дети, а уже как преступники. Нет» не все… отец… Теперь их так много, мертвецов, а я как деревянная колода! Ничего… Совсем ничего.

– Плохие мертвецы?

– Наших много. Многим хорошим бойцам сегодня выпустили кишки. И эти… мятежники… они нам вроде родни, свои. Плохие мертвецы, напрасные. Там еще кочевники были у них, суммэрк тоже были… это хорошие мертвецы, нужные. А те, помет онагрий, те – плохие… Ешь. Что сидишь?

Бал-Гаммаст взялся за мясо.

– Как они выглядели… отец мой сотник?

– Кто? – Медведь оторвался от добычи и уставился на него. – А… эти.

– Старые? Молодые?

– По правде говоря, они выглядели как две кучи говна, из которых торчат стрелы. Вернешься домой, помолишься за них и за себя. Грешно убивать. А не убьешь, так самому котел с плеч снесут…

Сотник пребольно стукнул его кулаком в лоб.

– Вот что, солдат Балле. Помолишься за их души, за свою душу и забудь. Выбрось это говно из головы.

«Прости меня, Творец…»

– Ты вот говорил, Пратт…

– Отец мой…

– Ты говорил, отец мой сотник, что потерянные стрелы все равно заставил бы вернуть. Не все, так много. А если бы я, скажем, не захотел позориться, но украдь-купить тоже не захотел бы, тогда что? Если б я подошел к тебе и сказал: «Отец мой сотник, позориться не хочу, а денег нет. Дай мне какое-нибудь дело в зачет потерянных стрел – тяжелое или опасное». Дал бы ты?

Медведь даже перестал жевать. Задумался. Помолчал. Мясной сок на угли капает.

– Может, и дал бы... А скорее ничего б не дал. Пинком бы вышиб из сотни. Не умеешь делать что положено, значит, у тебя другая мэ. Не солдатская мэ. Ищи другую жизнь...

Тут из темноты вышел знатный человек. Сразу не видно кто, понятно только, что доспех дорогой: медные пластины посверкивают, их много, прикрывают почти все тело от шеи до икр. Значит, не простой человек. С ним была свита, с десяток вооруженных людей. Все они, повинуясь повелительному знаку, остановились чуть поодаль.

– Здравствуй, Рат.

Огонь осветил лицо. Эбих центра, Рат Дуган по прозвищу Топор. Сотник вскочил с необыкновенной ревностью. Дуган:

– Сиди, Медведь...

Эбих поклонился Бал-Гаммасту, коснувшись ладонью земли. Как будто они были во дворце, как будто сотни глаз наблюдают за церемонией...

– Отец мой, царевич Бал-Гаммаст, да сопутствует тебе удача в делах, да будет к тебе милостив Творец! Отец твой, государь Донат, немедля требует тебя к себе. Твое обучение в сотне Пратта Медведя закончено. Мы послужим тебе охраной.

«Вот как... Дело должно быть серьезным».

Так Бал-Гаммаст перестал быть солдатом. Он подобрал меч, встал и сказал, стараясь подражать тому голосу Лана:

– Сотник Пратт, я доволен твоей службой. Прочее оружие отдай в обоз. Мое пришлешь завтра.

Повернулся к эбиху и его людям:

– Идите за мной.

\* \* \*

У царского шатра – сотня личной охраны Доната, служители Творца, эбихи со свитами, чиновники, энси и лугали городов, оставшихся верными столице, по обычанию пели гимн во славу победившего государя. Все высокие люди войска – от эбихов до сотников – стояли на коленях, опустив лица к земле. Простые солдаты пели в строю, подняв глаза к небу. Царевич знал последовательность гимнов, приличествующую большому сражению, значительным потерям и великой победе. Последовательность энган, это бывает очень редко. Иногда – ни разу на протяжении всего царствования. На его памяти энган пели еще дважды. Один раз, два солнечных круга назад, отец брал его в поход на Полночь, против страшных горцев, людей-быков. Тогда все те, кто не получил раны, пришли к царскому шатру и пели гимны по своей воле, славя удачливого царя. Отец стоял у шатра и плакал от счастья. Потом улыбался и опять плакал. Многие говорили, что Царство истосковалось по настоящему полководцу... Им было тогда за что благодарить отца. Сейчас – тоже есть. Но столько бойцов погибло сегодня на проклятом поле у города Киша, и так утомились те, кто уцелел, что прежней ослепительной радости не суждено было повториться. Энган пели по обычанию, пели справедливо, пели, почти падая от усталости. Сейчас будет гимн во славу Творца, потом здравие царской семьи, и все закончится.

Площадка перед шатром была пуста. «Почему он не выходит? Он должен выйти. Поющее войско должно видеть лицо государя. Почему отец не выходит?»

В свете костров царевич разглядел группу всадников в богатых одеждах. Так же, как и он, ждут. Было бы оскорбительно до окончания ритуала войти в царский шатер.

Кто там? Бал-Гаммаст присмотрелся… брат, Апасуд. Улыбается ему. Лицо у него детское. Или женское. Полные губы, тонкая кожа, воловьи глаза… Двадцать кругов солнца царевичу Апасуду, а выглядит он как девушка. Бал-Гаммаст улыбнулся в ответ. Отлично, брат цел и невредим. Его почти не допускали к воинским делам, да и в походе против мятежного Полдня дворцовые служители держали царевича подальше от вражеских стрел и мечей… Творец и они уберегли брата. Собственно, это был первый поход Апасуда и пятый – Бал-Гаммаста. В локте от Апасуда – эбих Асаг в полном боевом вооружении и еще с десяток конников. Охрана.

«Похоже, мы выросли в цене. Полдня назад отец не боялся ни чужих лазутчиков, ни внезапного удара мятежников. Теперь наши жизни стоит охранять… Отчего?»

Причина должна быть или очень плохой, или хуже некуда… думать не хочется.

Когда воины затянули последнюю хвалу последнего гимна, царь вышел из шатра. Невысокий сухощавый человек стоял прямо, как шест, в окружении костров, растягивая губы в улыбке. Слушая стихающие звуки энгана, он поднял руки.

Нестройный рокот прокатился по рядам усталых победителей. Они помнили, что он совершил два солнечных круга назад, они понимали, что он совершил сегодня, они видели, что совершал он всю свою жизнь от самых ворот в возраст мужества.

«Жив! Жив! Жив! Цел. Жив! Отец…»

Царь опустил руки, и все, кроме личной охраны государя, разошлись к своим кострам. Апасуд и Бал-Гаммаст в окружении воинов приблизились к нему. Конники спешились.

– Пленные готовы? – негромко спросил отец.

– Стоят за холмом, в половине полета стрелы отсюда, великий отец мой государь. – ответил ему эбих Рат Дуган.

– Коней мне и Балле.

Бал-Гаммаст слышал, как царь вскрикнул, усаживаясь на любимого вороного жеребца. Всего милосердия сумеречной мглы не хватало, чтобы скрыть бледность на его лице.

«Отец!»

…Пленники были выстроены в три длинные шеренги, локти стянуты ремнями за спиной. Кто-то склонил голову, кто-то смотрел дерзко, кто-то плакал, кто-то молился, кто-то скрывал ужас под маской хладнокровия, но никто не посмел заговорить. Все молча ждали приближения судьбы. Царь мог даровать им свободу, мог пресечь мэ, а мог изменить его: стране больше не нужно было столько вооруженных людей, зато каналы, колодцы и стены требовали множество рук… война не умеет строить, но за всю ее озорную жестокость проигравшему приходится платить. Платить именно так – руками.

– Сколько их?

– 1384, великий отец мой государь.

– Свободы не заслуживает никто. Жизни – почти все. Но да будет пресечена мэ тех, кто отмечен. Дайте: мне даккат!

Даккат! Звонкое, как удар бича, слово. Шеренги? вздрогнули, словно и вправду огромный бич прошелся! по спинам побежденных. Даккат! Вот уже четырнадцать солнечных кругов не случалось шествия с даккатом во всей земле Алларуад. Из третьей шеренги кто-то невидимый коротко и крепко проклял царя. Двое или трое упали на колени, разразившись рыданиями. Отец обернулся к Бал-Гаммасту и Апасуду: – Вы должны увидеть и навсегда запомнить все то, что будет сейчас происходить. Мэ царя похожа на мэ ножа. Он сам ни в чем не волен и лишь служит руке. Творец, может быть, отзовется на ваш зов, когда вы захотите от него помочи или совета. А может быть, Он не обратит к вам свои уста. Но если Он сам пожелает нечто совершить через вас, вы поймете и должны будете послушаться. Вам надлежит знать: нет ничего более важного для правителя. Вы можете поступать по закону и по прихоти, пока не услышите Его слова. После этого для вас не существует ни закона, ни прихоти, но только воля Его.

Царь говорил так тихо, что никто, кроме Бал-Гаммаста и Апасуда, не слышал его слов. Помолчав немного, он продолжил:

– Вы поедете рядом со мной вдоль строя. Рука одного из вас все время должна быть в моей руке. Вам не следует освобождать ее, пока я не прикажу. Аппе! Ты – первый.

Четыре воина, вооруженных длинными копьями, встали рядом с царским конем. Агулан дворцовых писцов принес два медных сосуда с краской и тонкую кисть на длинной ручке. Сосуды понес один из воинов. Царь взял кисть в правую руку, а левой сжал пальцы Апасуда. Вороной жеребец, узнав нутряным скотским чутьем запах смерти, запрядал ушами, скосил бешеный глаз к собственной спине, но потом утихомирился и медленным шагом побрел вдоль шеренги бывших мятежников.

Апасуд вздрогнул. Темнота еще не до конца овладела полем и холмом, но сила ее стояла за шаг до полноты. Лишь Бал-Гаммаст заметил, как исказилось лицо брата. Царь на мгновение остановил шествие и взглянул на Апасуда. Молча. Тот выпрямился, стал прямей копья.

Еще десяток пленников – позади. Шеренга молчит, молчит стражи, молчат царь и его сыновья… Что это? Всхлип, прозвучавший ударом грома, разорвал тишину. Апасуд! И сейчас же где-то там, позади, в отрезке шеренги, который теперь превратился в прошлое дакката, некто захохотал, надрывая глотку, а потом закричал:

– Спасибо! Спаси-и-и-и-бо! Творец, спаси-и-бо!

Бал-Гаммаст увидел: брат извивается подобно кошке, которую крепко держат за заднюю лапу, не давая убежать. Серая кобыла нервно танцует под ним. Как и пойманная кошка, Апасуд боролся молча, не смея подать голос, а потом издал негромкий стон. Не ртом, утробой. Так лесной зверь, угодивший в ловушку, воет от безнадежности…

Ненадолго успокоился. Хорошо. Сотни глаз обращены к нему. Так нельзя. Царскому сыну непозволительно… Никогда, ни при каких обстоятельствах. Апасуд не надолго успокоился.

Царский конь остановился вновь. И тут Апасуд разомкнул уста и выпустил на свободу долгий протяжный крик, беспощадным ножом вспоровший поздние сумерки. Царь, не поворачивая головы и не отпуская сыновнюю руку, медленно поднял кисть, макнул ее в один из сосудов и прочертит на лбу у пленника короткую вертикальную черту. Черта светилась во тьме, как светятся гнилушки на болоте, только намного ярче, так, чтобы каждый ясно увидел: этот – помечен. Черта пылала нестерпимо алым. Товарищи несчастного мятежника в ужасе посторонились от него, будто от зачумленного. Никто из живых не желал заразиться гибелью, Ибо живой мертвец стоял между ними. Тот взглянул на царя, но даже сейчас, обладая свободой смертника, немедля опустил глаза Не сумел быть дерзким до конца. Апасуд заливался, то и дело переходя на хрип. Над шеренгой летел его вопль, уязвляя робкие сердца. Серая кобыла поднялась на дыбы, опустилась и злобно укусила вороного; воины едва усмирили взбесившееся животное.

Помеченный даккатом пробормотал, не отрывая взгляда от земли:

– Будьте вы прокляты. Будьте прокляты вы все. Будьте прокляты.

Жадно чавкнули остряя двух копий, входя в приговоренную плоть.

– Довольно! – приказал царь, – ты свободен, Апасуд. Бал-Гаммаст! Дай мне руку.

Апасуд ускакал прочь, не смея остаться среди свидетелей своего позора.

– Асаг, он мне нужен. Очень скоро, – тихо сказал отец. Эбих, повинувшись царской воле, сейчас же понесся за беглецом.

Сильные отцовские пальцы стиснули ладонь Бал-Гаммаста не хуже деревянной колодки. Шепот:

– Не позорь меня, Балле.

Шеренга медленно поплыла назад. То, что настигло царевича, было хуже кошмара в душную ночь при полной луне. Вмиг – чужие глаза, наблюдавшие за всеми этими людьми день

назад, десять или двадцать дней, стали его собственными. Картины недавнего прошлого теснили одна другую перед его мысленным взором. Этот, бородатый, потрошил тела мертвцев на поле боя у Сиппара, добывая у каждого печень, неведомо для каких дел. Этот, с рожей эламита, жег хлеб и увечил пленных. Так забавно, наверное, продеть костяной крюк под ребро, сесть на лошадь и сначала шагом, а потом...

Царь не позволил Бал-Гаммасту остановиться.

Этот коротышка убил женщину. Вне боя. Спокойно. Ничуть не волнуясь о наказании: кто видел его тогда? Небо да ветер. Та умирала, широко открыв глаза от изумления... за что? за что? зачтозачтозачто? А не надо шутить вполголоса. Шутить следует молча.

– Алая черта.

Война бывает разной. Кое-что происходит между большими битвами.

Этому, в кожаном колпаке, так нравится насиливать мальчиков... А этому, лысому, больше по вкусу девочки. Этот, с окровавленной тряпкой на плече, бросил отраву в колодец, не пожалев целой деревни.

Алая черта.

Алая черта.

Алая черта.

Алая черта.

Алая черта...

Всего их оказалось двадцать шесть, помеченных алым.

Тьма наконец воцарилась полностью. Последним к царю подвели рослого худого человека в дорогой одежде. При свете факелов золотой браслет – змея с глазами из алого сердолика – тускло поблескивал у него на руке. Рат Дуган подал голос:

– Он говорит, что...

– Я знаю, кто это! – гневно оборвал его отец. Опустил кисть во второй сосуд и провел черту... нет, не алым, а льдисто-голубым. Глянул на Бал-Гаммаса:

– Ты видишь?

– Да, отец.

Царь помолчал немного, разжал руку и добавил:

– Такое не должно плодиться.

...У шатра их ждали Апасуд со склоненной головой и эбих Асаг, очень высокий, очень худой и очень злой человек, чудовищно искусный, к тому же боец на мечах. Земля Алларуд не знает более грозного вожака для атакующей конницы.

Отец подозвал эбихов Рата Дугана и Лана Упрямца.

– Я не могу слезть с коня сам. Держите меня.

Те молча спешились, подбежали, подставили сильные плечи, сняли вялую человеческую плоть с вороного – осторожнее, чем женщина снимает с шеи тонкую цепочку... Поддерживая под руки, они то ли ввели, то ли внесли царя в шатер. Оттуда раздался глухой усталый голос:

– Зови первосвященника Скажи: обряд завершения мэ.

– Государь...

– Не время перечитывать. Иди. Царевичи подождут снаружи. Им не следует видеть... – Последние слова были произнесены столь тихо, что снаружи их не рассыпал никто. Эбих Асаг выскочил из шатра и побежал, словно позабыв о собственном чине, понесясь, как подобает бегунам, а не полководцам.

– Я надеюсь... на вас двоих, чуть меньше... на Асага, да еще на Утгала Карна, эбиха... пехоты ночи. Он выживет? – Голос звучал едва слышно, долгие паузы между словами. Царь еще не успел сделать всего и боролся теперь за каждый звук. Его мэ – не умирать, пока дела не окончены...

- Государь...
- Не мешай мне, Рат. Никакие лекари... *мне...* не помогут. Я знаю. Он выживет?
- Да.
- Слава Творцу, нас породившему.
- У Бал-Гаммаста перехватило дыхание. Отец не может ошибаться. Если говорит: «Знаю», – значит, и впрямь знает. Но он должен ошибиться, должен, должен! Как же так...
- Ты, Топор, и ты, Упрямец, помните... вам... без меня... придется скакать по всей стране, как и при мне... приходилось... не забудьте... с любыми врагами справиться не так... тяжело... хуже всего... если будет сам Падший и слуги его... или... сюда опять ворвется... Старшая земля... горные быки. От первого... один Творец защитит. От этих... только пехота ночи. Только. Берегите... Ту, что во дворце... и моих детей... приказать уже не могу... прошу... я был с вами не только государем... но и... товарищем... прошу...

Первосвященник Сан Лагэн выгнал из шатра всех, потом посмотрел сурово и велел убраться подальше, мол, лишние уши не нужны, позовет, когда следует. Лан Упрямец кликнул энси царской охраны Уггал-Банада. Тому никто не мог отдавать приказы, кроме самого царя. Эбих *посоветовал* ему устроить стражу вокруг шатра и менять часовых вдвое чаще, чем обычно. Тот кивнул утвердительно, и вскоре в темноте раздалось деловитое бряканье оружия, приглушенные голоса десятников – словом, строгая воинская суeta, как и бывает при смене стражи.

Бал-Гаммаст со всеми вместе ждал, когда кончится обряд. Луна стояла высоко, яркие, крупные звезды стелились низко, от солдатских костров плыл нестройным гомоном, а здесь, у шатра, ни слово, ни какой-нибудь резкий звук не дырявили душное полотно ночи. Невесть откуда пришли к царевичу затейливые мысли, никем не сказанные и не написанные, однако ж посетившие его, как путники посещают заброшенный дом, не спрося разрешения у сгинувших неведомо когда хозяев. Бал-Гаммаст поччул на языке неприятный кислый привкус ломающегося времени. До полуночи победа владела землей Алларуад, после полуночи придет мутное колыхание черноты, приторный аромат падения. Кто сказал, что металл не пахнет? Просто его запах не хочется чувствовать. Полночь. Полночь над полем недалеко от славного города Киша делит сезоны бесконечно долгой судьбы, словно межевой знак кудуррат, указывающий границы двух земельных наделов. Как долго В Царстве стояла благословенная сущь! В полночь оборвется струна, придет сезон краткого и беспокойного зноя, а вслед за ним явятся дожди, ветра и холод. Где-то далеко на Полночь, за горами и за другими горами, за пустыней и за великими реками, говорят, лед падает с неба, когда землей – правит холодный сезон. Они там, в месяцах и месяцах пути, называют это словом «зима».

В стране Алларуад не бывает зим, но царевич почувствовал, что это такое – зимний ветер, холоднее льда... у самого сердца.

Первосвященник выглянулся наружу.

– Государь Донат зовет вас всех.

Отцовское лицо бледно, лоб испещрили капельки пота, одежда заляпана кровью. Ему некогда было переодеться? Или незачем...

– Объявляю... волю Того, кто во дворце. Мой... старший сын... Апасуд... наследует венец государя в Баб-Аллоне и во всей земле Алларуад, а ему наследуют... дети его. Если детей... у Апасуда не будет, ему наследует... мой младший сын, Бал-Гаммаст. А Бал-Гаммасту наследуют дети... его. Если детей... у Бал-Гаммаста не будет... ему наследует... дочь моя... Аннитум. А после Аннитум... наследуют ее... дети.

Царь перевел дыхание.

– Ты успеваешь?

– Да, великий отец мой государь. – Роль писца в таком деле взялся выполнять сам первосвященник.

— Детям моим... Бал-Гаммасту и Аннитум... следует быть лугалями в старых и славных городах. Когда войдут... в возраст совершеннолетия... пусть царевич Бал-Гаммаст... уйдет из столицы... в Урук... и там правит под рукой Апасуда., до смерти своей или до воцарения. А царевна... Аннитум... пусть уйдет из столицы... в Баб-Алларуад... и там правит под рукой Апасуда... до смерти своей... или до воцарения.

Царь замолчал надолго, собираясь с силами. Кадык его ходил ходуном. Глаза были полу-закрыты. Никто не осмелился прервать молчание. Наконец вновь зазвучал голос государя.

— Вы, эбихи, братья силы... слушайте мою волю. Уггал Карн из черных останется в Баб-Аллоне обронять... Ту, что во дворце... и моих детей... Асаг... возьми пехоты ночи... одну тысячу мечей... своих конников... очисти Барсиппу... потом... будешь лугалем Баб-Алларуада, а потом станешь правой рукой... дочери моей... Рат Дуган и Лан Упрямец... вам... надлежит очистить Киш, Сиппар, Иссин... Эреду, Ниппур, Лагаш, Ур... весь Полдень Царства... Потом сядете лугалями... Рат... ты — в Ниппуре... Лан... ты — в Лагаше... Старые города Киш... Эреду... Ниппур... да будут лишены прав кидинну... на десять солнечных кругов... старый город Лагаш... если откроет ворота... да будет прощен... если не откроет... та же мэ... Творец... влейте... мне в рот... вина. Лан Упрямец протянул ему тяжелую глиняную чашу, покрытую лазурью, до краев наполнив ее вином. Эбих не подчинился царю. Апасуд:

— Отец сказал — прямо в рот!

Эбих молча держал чашу над грудью угасающего владыки. Тот скрестил свой взгляд со взглядом полководца и зашелся хриплым хохотом:

— Правильно, Лан... правильно... дай Творец крепких мальчиков твоей жене...

Отцовская ладонь медленно поднялась, пальцы приняли чашу у эбиха и понесли ее к губам. Рука не дрожала. Ни капли вина не расплескалось. Чаша, опустив, полетела в сторону.

— Урук виновен не меньше других... убили... моего лугаля... старика... Энмеркара... хотел послать Маддана, хорошо, не послал... да... но они — твердыня Полдня. Лишаю старый город Урук... права кидинну... на один круг солнца... посылаю туда... кого? Никого больше... у меня не осталось...

Царь слабел. Его воля удерживала в повиновении все меньшую и меньшую часть тела, мыслей, слов.

— Да... разве только... волей своей... дарую сан эбиха энси Уггал-Банаду... он и будет лугалем Урука... очистив его... да... потом... станет правой рукой сына моего Балле... царевича Бал-Гаммаста... да... Первосвященник... впиши имена их всех, кто слышал меня... вписал? Теперь... отпускаю вас всех... желаю... один...

У военачальников — каменные лица. Гораздо позже Бал-Гаммаст узнает, что его отец должен был умереть, не выходя из шатра и тем более не творя дакката. Еще тогда, когда войско пело энган. Так сказал лекарь. Но у государей — странная мэ. То ли Творец помогает им жить, пока дела не окончены, то ли... царя не зря звали в войске Барсом: оказался живуч как кошка. Эбихи, каждый на свой лад, изумлялись, храня на лицах броню: отчего он еще жив? чем он еще жив? Как далеко простирается на жизнь воля мертвого человека!

Они были верными людьми. Он был им хорошим государем — в меру щедрым и милостивым, в меру умным и жестоким, чрез меру отважным. Они приняли последний приказ холодающих уст: служить царским детям и Царству. Они собирались выполнить его. Когда военачальники пошли к выходу из шатра, никто не лелеял в сердце измену... Они и впрямь были верными людьми. Откуда стало ведомо об этом Бал-Гаммасту? Чужое знание поселилось в нем после дакката. Он почувствовал, как лопнула натянутая струна, когда отец выгнал их вон. Дыхание будущего зноя горячим сквозняком опалило кожу царевича.

Неожиданно громко государь баб-аллонский произнес: — Нет. Пусть царевич Бал-Гаммаст останется.

Эбихи и первосвященник переглянулись между собой: что за притча? Ритуал исполнен. К нему нечего добавить. Царь следует своей мэ до самого конца, как и надлежит... Чего не помнят они, какую деталь упустили?

В теле Доната не было прежней силы. Твердость ушла, хотя сердце его еще билось ровно. Неведомо, как вышло у него,, быть может, царь с последнего своего ложа в последний раз обратился к Творцу и попросил помощи, – да, неведомо, как вышло у него, но слова властителя загремели, будто он во всей силе своей и в прочном доспехе повелевает войску:

– Я, Тот, кто во дворце, жду, когда в моем шатре останется один мой слуга. И этот слуга – царевич Бал-Гаммаст!

Миновал удар сердца, В шатре – двое.

– Балле... я умираю.

– Нет, отец.

– Да, Балле. Всей моей жизни осталось на сотню-другую вдохов. – Все, что было в голосе царя живого и сильного, стихло. Боль и немочь побеждали непобедимого полководца. Неотвратимый срок звучал в его словах.

– Нет, отец, нет, нет! Как же это возможно... Это невозможно! Нет, отец.

– Да, Балле... – Царевич наконец поднял глаза. Его государь и его отец все хотел решиться на что-то, но не мог. То ли сроду не умел, то ли опасался – Творец знает чего.

– Балле... я так рано ухожу... я так мало тебе рассказал., я так мало тебе показал... Балле... сынок... сынок... подойди ко мне... иди ко мне... Балле...

Бал-Гаммаст опустился на колени и обнял его. Ни разу в жизни такого не бывало. Царевич обнял отца неуклюже, и тот обхватил его своими сильными руками, все еще очень сильными, даже у последнего порога.

– Балле... Балле... Балле... сынок Балле... Балле... мой сын... мне так жалко... я больше не увижу тебя...

Сколько было в царе железа, все ушло. Он не кричал, когда попал в плен к полночным горцам и те раскаленной медью ставили ему на ладонь клеймо раба. Он держал свой рот на запоре, когда старый Маддан, тогда еще, впрочем, совсем не старый, вытягивал стрелу у него из ребер. Он не боялся ничего, кроме Творца. И вот теперь слезы в два ручья неостановимо лились по щекам царя, смешиваясь со слезами Бал-Гаммаста.

– Балле... сынок... Балле... Балла... Балле... Балле...

Царь обнимал самое большое сокровище изо всех, которые достались ему за пятьдесят солнечных кругов. Самый большой трофей, отнятый у судьбы в великой войне. Самый драгоценный дар, полученный им от Господа Обнимал и все произносил имя, все цеплялся за имя, никак не хотел отпустить имя... Потом и имя смолкло, но губы еще двигались, силясь произнести:

– Балле...

Бал-Гаммаст не почувствовал, когда отцовское сердце шевельнулось в последний раз, а воздух в последний раз покинул отцовскую грудь.

\* \* \*

Халаш прежде никогда не видел этого человека, но от лазутчиков и от Энлиля знал о нем немало. Низенький, чуть не в полгростника росточком, и очень широкий в плечах. Молодой, а волосы его, коротко обрезанные, черные, все испачканы седой солью. Бороду не носит. Почему? Обычно так делают, когда растет козлиная. Губы тонкие, вытянуты, будто прямая палочка. Кожа на лице темная, грубая, ветрами и зноем порченная, словно воловья шкура. На левой щеке безобразная лиловая вмятина в добрую четверть мужской ладони размером:

плоть не была рассечена или отрублена, ее как будто вдавили... Глаза маленькие, колючие, серые, такими глазами умный злой волк высматривает больную овцу... ту, что будет отставать от стада. Халаш видел волков не раз. Наглые бесстрашные твари, он побаивался их зубов, как собака. Его бы воля, никогда не связывался бы с волками. Но пастуху иначе нельзя, пастух должен заглядывать в глаза волкам – иной раз с очень близкого расстояния... Этот, почти карлик, смотрел на Халаша с настороженной ленцой... настоящий волк. И двигается так же: не поймешь, то ли быстро, то ли медленно, только что вроде бы стоял вон там, а теперь оказался вот здесь... Как успел? Большие ладони, длинные цепкие пальцы, привычные к любому оружию, да и без оружия, видно, хороши...

Беспощадный Топор, эбих центра, Рат Дуган, Бывший лугаль ниппурский не боялся боли, не жаль ему было и крови своей. Он примет казнь свою, назначенную царем Донатом, без криков о пощаде. Три раза по шесть и еще пять солнечных кругов назад к их кочевому роду пришло недобroе время. У отца, слабого человека, отобрали почти всех овец. Рыбаки, грубые и дерзкие люди, кто сладит с ними! Даже царские писцы и гуруши, бывает, сторонятся тех рыбаков, что промышляют в море... Отец привел их всех в Ниппур, отдал последних овец Храму и поклонился священнику. Целый шарех вся семья ничего не делала, ела хлеб, сколько хотела, пила молоко и сикеру вдоволь. Потом пришел храмовый писец, было утро; Уту, еще слабый и вялый, едва бросал свет на небесную таблицу, даже вспоминать не хочется... Люди Храма поставили отца пасти свиней. *Свиней!* Отец было попытался объяснить, что негоже ему, человеку не из последних, да еще торгового рода, иметь дело с нечистыми животными. Писец ему ввернул урукское присловье, мол, есть ослики, которые умеют быстро бегать, а есть другие ослики, которые умеют громко орать... Мол, будет тебе шуметь, ты теперь то же, что и мы, выходи на работу. Отец не мог противиться, его бы выгнали со всей семьей за стены, помирать от голода и дикого зверя. Так он увидел, что город быстро делает тебя младшим человеком, низким человеком. Сказал писцу: «Сейчас иду», а сам позвал Халаша и велел ему: „Погляди-ка!“ Взял глиняный горшок, разбил его, осколком распорол себе тыльную сторону ладони и помазал кровью оба уха, «Халаш! Я теперь должен верить в их Творца, хоть я его не видел и не слышал ни разу, он ничего не подарил мне, ни разу не давал совета и ничем не пригрозил. Слабый дух – вот он что такое. Но ты помни, кто мы. Помни, мы были вольными людьми. Каждый в нашем роду имеет сильных духов-защитников, и ты получишь таких же, когда тебе минет десятый солнечный круг. Они, Халаш, невидимы и очень легки, легче волоконца от лозы. Сидят у меня на плечах, один слева, другой справа, и разговаривают. Левый считает, что я ни на что не годен, но он шепчет в ухо самые ценные советы, он настоящий ловкач и видит воду вглубь, аж до самого дна. С ним легко обмануть любого простака. Правый с Левым спорит, *наши*, говорит, тоже ничего. Если надо бежать быстрее обычных людей и драться за двоих, этот поможет. У них такой обычай, что дают все даром. Если удача подвернется, то еще и добавят. Но если приходит недобroе время, тебя побили или обманули, то ты перед ними виновен. Надо платить кровью. Только своей. Сейчас меня согнули, и я плачу своим духам-защитникам, но совсем чуть-чуть, хорошо...»

Появились они в свой срок и у Халаша, точно отец говорил. Пять солнечных кругов Халаш пробыл пастухом, потом выбился в купцы, как дед и прадед. Творцу ли он поклонялся, ануунаку ли, простые боги людей кочевья не покидали его плеч. В них привычно верил бывший ниппурский лугаль, а иным силам доверять не хотел. Всю битву Левый говорил: «Беги», – а Правый обещал: «Хочешь, сделаю так, чтоб одним ударом валил бы человека?» Кого из двух слушать? Надоели, старые ворчуны. Теперь, однако, был перед обоими виновен Халаш, и расплатиться следовало сполна. Он проиграл бой, всю войну, собственную свободу и все свое имущество: не оставят его добро в покое царские писцы, когда доберутся до славного города Ниппура. Много проиграл – и вина велика. Хотел было отомстить, когда очнулся. Тащат его в сторонку два царских пешца в кожаных шлемах, признали важную птицу по одежде, уже

сумерки, лиц не видно. А только видно, что никакого меламму не осталось, не светятся ладони, даже слабой искорки не исходит от них. «Что ж, я теперь не лугаль? – усомнился было Халаш. И позвал: – Энмешарра! Энмешарра!» Ничего. До простых людей, хотя бы и недавних правителей, не сизойдет страж матери богов. Не получилось – отомстить. Выходит, кончилась власть и не уйти от кредиторов, а заем ох как велик. И то, что его теперь по велению царя оскопят – отличная новость. Он будет жить, и он не смирятся, не просит. А духи получат великую жертву. Наверное, им достаточно. И каждый понимающий человек подтвердит: эти бесполковые бабаллонцы только помогают ему, делают полезное дело. Сам бы Халаш, пожалуй, отрубил бы себе кисть левой руки. Гораздо хуже. А это… жалко, конечно, но не так неудобно и… с чужой помощью.

На миг бывший лугаль усомнился: да неужели все так и вышло? Неужели мог он проиграть? Неужели кольца Ана не дошли до столичных ворот? Как же так! Непобедимая сила стояла у них за спиной. И не помогала… Вон лекарь перебирает свои железки, варит какое-то зелье. Нет, и вправду сделка рухнула, одни потери… Правда. Не во сне привиделось.

…А как страшно было смотреть со стен Ниппуря еще до всего, в самом начале: в сумеречный час две темные фигуры, каждая по три тростника ростом, медленно приближались к городу. Колыхание их одежд по слабому ветерку завораживало взгляд. Люди сбежались с полей и из ближайших селений под защиту гарнизона. Гулко ударили створки ворот.

Глупцы! Защититься от этого стенами, воротами и мечами невозможно.

Первый великан – безлик и весь, с ног до головы, одет в черное. Ладони, шея и лицо обмотаны черными же тряпками. Кожи не видно ни на мизинец. Закрыты тряпками глаза, рот, ноздри, уши… При каждом шаге земля прогибалась под ним, не желая носить эту жуткую тяжесть. Стрелы отскакивали от него. Камень,пущенный из катапульты, ударил в живот, но великая ничуть не замедлил движения. Когда безликому оставалось до стен не более четверти полета стрелы, громоподобный шелест зазвучал в голове у Халаша: «Энмешарра… Энмешарра… Энмешарра…» Кто-то из стоящих рядом, застонав, стиснул виски ладонями, кто-то полетел вниз, на землю.

Вторая – женщина, если можно так назвать существо, у которого три пары грудей. Волосы собраны под пестрым платком, увитым пунцовыми лентами. До пояса она была обнажена, ноги и лоно скрывала юбка, состоящая из живых, извивающихся змей. В правой руке великанша держала нож. Кожа ее – черней копоти, сама она толста и широкоплеча, тяжелый висячий жир собран в складки на спине и на бедрах.

Энмешарра остановился прямо напротив стены. Будь чудовище еще чуть выше, оно увидело бы прямо за нею новенький дом почтенного кожевника Шана, владельца двух изрядных мастерских, главы одной из старших семей Ниппуря… Энмешарра пренебрег воротами. Он даже не поднял рук. Просто все услышали тяжелый вздох – точно так же, как раньше слышали имя великана: вздох прозвучал в головах. Сейчас же рухнул участок стены, освободив пришельцам дорогу внутрь города. Энмешарра перешагнул через тела солдат, попавших в пролом и израненных осколками кирпича. Еще вздох, и Шанов дом лег руинами. Потом еще один, еще, еще, еще…

Его спутница прошла через брешь, осыпаемая стрелами и дротиками. На ее теле не появилось ни одной царапины. Вместо шелеста в головах – пронзительный скрип: «Нинхурсаг… Нинхурсаг… Нинхурсаг…»

В тот же миг Левый шепнул Халашу: «Не бойся. Это может оказаться полезным. Только не оскорбляй пришельцев». А Правый пообещал: «Если придется покричать, твой голос будет второе громче обычного. Помни это». Странные мысли зароились в голове у простого ниппурского пастуха: «А не пора ли переменить мэ? Не упустить бы случай».

Добрая половина солдат разбежалась, побросав оружие. Прочие стекались к лугалю ниппурскому, поставленному за солнечный круг до того царем Донатом. Лугаль велел немедля привести к пролому городского первосвященника, хоть бы тот и упирался.

Два чудовища стояли посреди развалин, от них исходил тяжкий смрад, как от разлагающейся падали, но ощущимей смрада был холод. Все, кто оказался в ту пору недалеко, поеживались от странного морозца, разносимого ветром от великанов. Энмешарра повел рукой. Руины, а также все, что было прежде создано с любовью и тщанием из доброго кирпича и подходящей глины, все, что накоплено было в домах: зерна, одежду, серебра и другого добра, все, что ныне лежало в хаотическом беспорядке у страшного пролома близ Речных ворот славного города Ниппур, немедленно обратилось в воду. Волна хлестнула по горожанам и солдатам. Кое-кого сбило с ног, некоторые закричали от ужаса. Но больше было таких, кто боялся двинуть рукой или ногой, боялся и слово вымолвить перед лицом кошмара, пришедшего в дом. Эти стояли по щиколотку в воде, не шевелясь.

В головах зазвучал голос безликого, и голос этот был таков, как будто камень ожил ненадолго и раздает повеления; не больше живого было в нем, чем в крепостной стене:

— Лугаль! Лугаль ниппурский! Слушай меня.

У молодого черноусого правителя, стоявшего во главе горсти солдат, достало мужества не ответить.

— Лугаль! Я собираюсь разрушить твой город, засыпать колодцы, обрушить каналы, убить людей и животных. Слышишь ли ты меня?

— Слышу, урод.

Халаш был совсем недалеко, он видел руки лугала, закрытые ото всех прочих солдатскими спинами. Пытаясь унять страх, правитель сжал их мертвым замком, так, что кожа побелела.

— Лугаль! Я очистил место. Вели всех собрать здесь. Если пожелаешь, я сохраню им жизнь. Но царь править ими не будет, и ты уйдешь отсюда. Лугаль! Почему ты медлишь? Если не скажешь им собраться, мэ города Ниппуря оборвется через шестьдесят вздохов. Я сказал.

Бегуны, один за другим, отправлялись в разные кварталы. Правитель не стал перечить.

Солдаты, толпа ниппурцев и оба чудовища стояли в молчании. Не было привычного гуда, какой всегда летает над большим скоплением людей. Потоки воды растекались по утоптанной земле городских улиц. Понемногу изо всех концов города стали прибывать группки ниппурцев. Толпа множилась, и вот Энмешарра сказал:

— Достаточно. Пусть старый город слушает меня. *Я пришел, чтобы распорядиться вашиими жизнями.*

Пауза. Ласковый шепот воды.

— Я дам вам закон и государя. Или убью вас всех. Лугаль:

— У нас есть и закон, и государь!

— *Были*, лугаль.

— *Есть*, урод!

— Мне ни к чему спорить с мертвецом, хотя бы он стоял во весь рост и подавал голос.

В толпе — испуганные шепотки: «Где же первосвященник? Где? Где? Ползком ползет?» Лишь на следующий день оставшиеся ниппурцы узнают, в тот же миг, когда древняя стена городская пала перед Энмешаррой, бит убари суммэрким восстал. Бит убари — кварталы чужеземцев — издавна были в Ниппуре, задолго до того, как отец Халаша привел в город свою семью. Самый большой из них принадлежал людям суммэрк, черноголовым. Сколько их жило там? Сто? Да, может быть, сто, в крайнем случае, двести. Капля — для старого города Ниппуря. Но наступило время перелома, и эта малость сыграла свою роль... Прежде бегунов лугала черноголовые отыскали первосвященника ниппурского и зарезали его, со всеми служами, а потом перебили иных священствующих со служами и семьями. Так что некому было откликнуться на

зов лугала, некому было бороться с силой, против которой не помогают ни камень, ни металл, ни живая плоть.

И все-таки лугаль не желал уйти. Мэ не отпускала его. Энмешарра:

– Слушай, город Ниппур! Грядет ваш господь! Примите его и слушайтесь во всем.

Великанша занесла руку с ножом и ударила сама себя в живот. Ни один сикль страдания не взошел на ее лицо. Глаза Нинхурсаг оставались так же холодны, как голос Энмешарры. Между тем нож медленно двигался книзу, из расселины во плоти хлестала кровь, змеи подняли головы и принялись слизывать ее с черной кожи – вниз, вниз, вниз, почти до самого лона. Правой рукой Нинхурсаг стряхнула с живота шипящих гадов, как будто отмахнулась от назойливых мух; потом запустила пальцы в собственное чрево и вытащила тельце младенца. Обыкновенного смуглого… мальчишку (что именно мальчишка, выяснится потом). Так же бесстрастно обрезала пуповину. Положила чадо на мокрую глинистую землю и воздела обе руки вверх: в одной пуповина, в другой окровавленный нож. Уста ее разомкнулись – единственный раз за все время пребывания в Ниппуре – и проскрежетали всего одно слово:

– Примите!

Чрево Нинхурсаг стремительно затягивалось, а кровь на нем из алой превратилась в розовую, потом в белую и наконец стала невидимой, совсем исчезла.

Тут толпа не выдержала. Многие завыли во весь голос, особенно те женщины, которые отважились выйти к чудовищам вместе со своими мужьями. Двое или трое забились в судорогах, не помня себя. Добрая половина бросилась врассыпную. Но тут Энмешарра поднял руку и словно бы начертал в воздухе двойной клин. Те, кто уже почти скрылся на кривых расходящихся улочках, попадали замертью. Шелест в головах:

– На место.

Направляемые ужасом, ниппурцы послушались и вернулись обратно. Энмешарра продолжил:

– Вот ваш бог. Лугаль выкрикнул:

– Наш Бог – Творец!

– Теперь поклонитесь этому богу. Имя нового господа для Ниппуря – Энлиль из рода анууннаков, слуг Ану, величайшего и лучезарного.

– Это, – не отступался лугаль, – враг и порождение врага. Я не поклонюсь ему, и другим не следует.

– Храбрый мертвец.

Младенец нечеловечески быстро рос. Люди дали бы мальчишке полтора солнечных круга или даже два. Энмешарра повелел:

– Слушай меня, город Ниппур. Ваш князь слаб, а я силен. Я покараю тех, кто не желает повиноваться. Вот ваш бог…

– Нет!

– …Вот ваш бог. Нового князя выберете сами, как *он* вам скажет. Царь вам не нужен, оставьте Царство. Будете сами по себе. Вся воля ваша, ничего не станете платить. А если Царство не отпустит вас, низвергните его. Сила непобедимая будет на вашей стороне. Смотрите, что может треть моего глаза, если освободить ее на время одного вздоха!

Энмешарра осторожно отогнул уголок тряпки, закрывавшей ему глаза. Отогнул совсем немного. Халаш стоял так, что не мог доподлинно разглядеть: какая именно часть глаза чудовища получила право взглянуть на мир, но по всему видно – никак не больше обещанной трети. Тут же в море ниппурских домов образовалась узкая просека. Будто некое огромное невидимое существо взяло нож и вырезало узкую полосу города, как вырезают кусок мяса из свиной ноги. От стены и до стены ниппурской образовался коридор шириной в шесть шагов или около того. Иные дворы и дома оказались разрезанными прямо посредине, мелкая домашняя утварь выпадала оттуда наземь.

Левый шепнул Халашу: «Смотри! Вот настоящий господин. Не будь простаком». Правый подхватывал: «Подчинись сильному. Может быть, он даст тебе что-нибудь».

Толпа ахнула. Бежать на сей раз побоялись. Громовой шелест сводил ниппурцев с ума:

– Те, кто не хочет повиноваться, пусть встанут рядом с вашим мягким князем. Те, кто будет верен Энлилю и всей силе нашей, пускай встанут напротив.

Толпа задвигалась. Лугаль выкрикнул:

– Творец и государь с нами! Встанем крепко! Стыдно бояться! Идите ко мне.

Но тех, кто встал напротив, оказалось намного больше. Некоторые старшие семьи остались верны ему и Донату, чиновники, ремесленники, работавшие на дворец, да и то не все. Из прочих перебороли страх немногие. На другой стороне собрались почти все младшие семьи, торговцы, рыбаки, многие из бедных земледельцев и пастухов. Те, кто боялся, и те, кто хотел большего. Халаш был среди них.

Мальчишка тем временем все подрастал, не открывая глаз и не подавая никаких признаков жизни. Тело, лежавшее у ног Нинхурсаг, могло бы принадлежать ребенку в возрасте пяти солнечных кругов.

Старый город Ниппур разделился. Как страшно! Никогда прежде не случалось стоять ниппурцам против ниппурцев. Разве это не страшнее двух великанов и чудовищного ребенка? Многие бы сказали – страшнее… Халаш не был родным для города. Он пришел извне, и аромат давней свободы был растворен в его крови. Дед его был богат и крепок. Отец ослабел, но не дал роду погибнуть. Их сын и внук ждал момента, когда свобода и богатство вернутся к семье.

Шелест:

– Что стоите, ниппурцы? *Неужели воля наша непонятна?* Неужели не хотите показать вашу верность?

Но так прочен был порядок в старом городе Ниппуре и так привыкли все его жители к непоколебимости этого порядка, что ни страх смерти, ни жажда возвышания не сдвинули толпу с места. Ниппур не хотел идти против Ниппура. Семья не хотела идти против родичей, а квартал против добрых соседей. Тогда Халаш – первым, – а за ним тамкар Кадан, рыбак Флорт, по прозвищу Крикун, да еще один черноголовый из битубари суммэрким – кто знает, как его зовут? – выскоцили вперед и заорали:

– Бей!

Сейчас же великий вой встал у разбитой стены старого города Ниппура. Две толпы – одна, подобная грозовой туче, а другая – ночному небу – столкнулись. Только что город стоял на порядке и на любви. Но кое-что всегда было рядом, стояло в тени и ждало своего часа. Кое-что, чему нет имени и в то же время – много имен. Одного слова оказалось достаточно, чтобы выдавать *это* из сердец. У каждого – свое. У Халаша – жаркая горечь песка из бесплодной пустыни, где смерть ласково улыбалась его деду и отцу, обещая утешить, раскрывая объятия легко… так легко, так легко! И обманчиво слабый город живо сделал сильных людей кирпичом в своих стенах. Они *несмеют!* У Флорта – журчание свободы, дарованной грубой и опасной работой морского человека и оборванной трижды руками городских гурушей. Как он бился, не желая признать их власть! Как расшивировал их, как дрался. Каждый раз стража пригибала его плечи к земле. «Воля не твоя, рыбак! Калечить людей тебе не позволено». Они *не смеют!* У Калана ноющий холодок ветра – за сто ударов сердца до урагана и за девяносто девять до спасительного горного ущелья. Кто опытнее Кадана в Ниппуре? Кто искуснее него? Он проходил путь от низшего в гильдии купцов до высшего всякий раз, когда бабаллонец с проклятыми табличками выносил приговор: «Отобрать все. *Этот* опять взял себе из имущества Храма». Они *не смеют!* Воля всего твердого и милосердного в городе столкнулась с волей черного огня, неверного, недоброго, зыбкого но упрямством своим – прочнее горного камня… Бывает, бывает огонь прочнее камня, будь он проклят!

Люди ударили в людей. Грудь в грудь. Пальцы сжимают чужие запястья, рвут чужие мышцы, тянутся ж чужому горлу. Где там нагнуться, чтобы взять камень с земли! Если был с собой нож, бронза его не раз войдет в плоть врага, если не было, что ж, зубы попробуют человеческой крови. Две толпы калечат друг друга, ослепнув от ярости, не хуже пса и волка, которым сама их внутренняя суть не велит примиряться.

Многие из тех, кто встал против лугаля, нерешительно топталась за спинами нападавших. Они наблюдали за смертоубийством, не зная, куда себя деть. Как случилось такое? Можно ли мирно жить на одной улице с людьми, которые на твоих глазах всего за один удар сердца превратились в зверей? Они смотрели на свалку и хотели одного: чтобы происходящее не случилось. Никогда. Ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. А в двух десятках шагов перед ними один ниппурец ломал кости другому...

Халаша сдавливали со всех сторон, хватали за руки, били, сбивали с ног. Невесть как он поднимался. И старый, еще дедов, короткий нож у него был. Убирая заостренной бронзой врагов со своей дороги, Халаш рвался к лугаля. Так, будто неведомая сила откуда-то извне вертела им в толпе, безошибочно направляя туда, где бился черноусый князь, подталкивая, не давая попасть под чужой удар, помогая убивать без промашки.

Верных государю ниппурцев было по одному на восемь мятежников. Горсть солдат и гурушей во главе с лугалем была их единственной надеждой уцелеть. Но и у них тоже было свое – о чем не говорят никогда, но и не забывают даже на день. Они здесь были господами и опорой города. Они видели то, что стоит в тени. Они всегда, один круг солнца за другим, желали ударить и раздавить. Но закон останавливал их. Теперь, одной рукой приняв ладонь смерти, они освободились. А освободившись, били столько, сколько пожелают, того, кто попался первым, и так, как прежде им не было позволено. Каждому из них от всего сердца хотелось влить расплавленный металл в бесплодное влагалище бунта.

С обеих сторон – не было пощады.

– К пролому! – направил лугаль своих. Это был единственный путь для спасительного отступления. Солдаты падали вокруг правителя один за Другим.

Безумие. Мятеж не отпустил бы никого, всех бы положил на месте. Те, кто бился с мятежом, взяли бы с собой, за порог оборванной мэ, сколько можно бунтовщиков. Чем больше, тем лучше! Любой ценой. Только что обе стороны отлично ладили в одном городе. Теперь мало кто думал о собственной жизни. Уцелеть? Спасти? Убить – нужнее...

– Бей!

Какая-то женщина, потеряв рассудок, билась в судорогах у самого края побоища и рвала на себе волосы. Ее глотка то и дело исторгала визг:

– Бей! Бей!

И все-таки понемногу толпа верных отходила к брешам. Солдаты, те, кто не убежал раньше, стояли крепко. За каждого из них толпа-ночь платила полновесным клоком своей тьмы. Наконец бой пошел на кучах глины и кирпича, между нависающих справа и слева челюстей городской стены. Верные, а их осталось, быть может, двести или триста человек, вырвались из бойни. Лугаль последним уходил из города, отданного под его руку царем. Лицо его и ладони были покрыты ранами, шлем сбит с головы, хриплое дыхание рвало горло. Он уходил последним и вдруг остановился, когда все его солдаты уже вышли наружу. Халаш и Флорт, один с ножом, а другой с дубинкой, встали против него. Смертельно уставший князь собрал всю силу, всю сноровку, оставшуюся у него в руках, и вонзил клинок рыбаку между ребер. Халаш ударил его ножом в плечо. Лугаль уже не смог достать свое оружие из мертвого тела. Отшатнулся. Прислонился спиной к стене.

– Слава Творцу... я остался.

Халаш впоследствии не раз думал об этих словах черноусого, но постичь их смысл не сумел. Остался? Дурак...

Он подошел вплотную и распорол лугалю горло. Схватил мертвца за волосы, не дал сразу упасть. Кровь лилась черным потоком на одежду Халаша, на кирпич и на землю. Он не выдержал и закричал прямо в мертвые глаза, отдавая гнев – свой, отца и всех тех, кто жил с ними рядом в Ниппуре, с мечтами о настоящей воле, и кто никогда не решался даже заговорить о ней. Во всей жизни Халаша не было ничего приятнее жертвенной княжеской крови, щедро украсившей его грудь и пальцы.

Уставшие, покрытые грязью и кровью, победители встали у пролома, наблюдая за Халашем. У них не было сил преследовать беглецов и не было решимости повернуться лицом к новому закону. Наконец Халаш разжал пальцы, и тело лугала распласталось на битом кирпиче. Кончено. Что теперь?

Шелест Энмешарры:

– Посмотрите на вашего бога. Поклонитесь ему.

Наконец все они повернулись. В грязи стоял на одном колене обнаженный мужчина. Не старше тридцати солнечных кругов. Рослый, крепкий, красивый. Короткие прямые волосы невиданного в земле Алларуад цвета бледного золота. Глаза... не поймешь, какая радужка: серая? голубая? зеленоватая? фиолетовая? алая? – оттенок все время меняется. Да и разглядеть трудно – поздние сумерки. Кожа белая, гладкая и чистая, словно у мальчика, притом мышцы как у опытного солдата. И... то, чем так тщеславятся мужчины... едва ли не побеждает здравый рассудок своими размерами. Но в общем, ничего необычного. Ничего божественного.

Шелест:

– Я сказал, поклонитесь ему. Город Ниппур! Каждый должен коснуться лбом земли, по которой ступает Энлиль.

Ниппурцы – все как один – покорились. И те, кто дрался только что, и те, кто стоял в стороне. Грязь на лбу объединила их прочнее кровного родства.

Это был великий и страшный миг в истории города. Его судьба словно бы разделилась на две части: до поклона и после него. Тем, что произошло *до*, можно было гордиться, а можно – досадовать, что не вышло умнее и краше. Что же касается *после...* тут уж либо держаться хозяев до конца, либо с первого удара сердца новой эпохи крепко учиться просить прощения.

Энмешарра указательным пальцем правой руки прикоснулся к плечу Энлиля.

– Я выпускаю тебя!

Новый бог Ниппуря встал с колена, выпрямился. Весь он с ног до головы был заляпал кровью собственного рождения.

И тут оба духа-хранителя Халаша шумнули: мол, давай! Пришло твое время! Ради этого ты, недотепа, и прикончил лугала. Может, Халаш измазал себя кровью *высокого* совсем и не по той причине. Может, он даже и не помышлял о продолжении. Может, и само *действие* принесло ему... что-то вроде освобождения... Но только? не привык пастух и торговец, сын пастуха и торговца, пренебрегать столь очевидным советом своих кочевых богов. Что сделать? О, Халаш очень быстро понял, что ему делать. Он выступил из общей толпы и принял сидячий с трупа сотника Анкарта одежду из тонкой шерсти. Тысячеглазая тварь Ниппур взглядел своим почти прокалывала ему спину, как костяная игла прокалывает непослушную кожу... Зыбкий шорох прошел по толпе. Суетливые люди в такие времена гибнут первыми... Это да. Зато и добиваются большего.

Халаш скоро справился со своей работой. Пал на колени перед Энлилем. Слова, способные возвысить, сами пришли ему на язык. Род его был таков: мужчины, так близко и бытово знаявшие хождение по пятам за смертью, умели вовремя протянуть руку за прибылью, крикнуть громче, сказать нужное.

– О, господь! Твоя нагота совершенна. Мои глаза недостойны видеть твое тело. Одежда, которую я принес, чтобы даровать твоему величию, лишь первый и самый скромный из всех

даров, которые принесет тебе город Ниппур. Прими! Не держи на нас гнева за то, что ничего лучшего не можем дать тебе *сейчас*.

Энлиль не побрезговал. Неторопливо оделся. Потом, когда мятеж стоял во всей земле Алларуад подобно львиному рыку, он признается Халашу: мол, жребий в день выборов нового лугала для славного города Ниппуря вряд ли мог выпасть иначе... уж больно приятно было поощрить негордого и понятливого человека. Толпе одетых горожан и впрямь не стоит видеть своего бога обнаженным. Право, совсем не стоит! Еще подумают нечаянно, что это нищенствующий бог.

К тому времени тьма опустилась на город. Фигуры людей, громада стен и неровные линии улиц расплывались в неверном свете факелов. Кто-то стоя ждал своей участи. Кто-то опустился на землю в изнеможении. Бесконечный несчастливый день еще не иссяк с заходом солнца. Наконец Энлиль заговорил. Луна станет полной и вновь похудеет почти что до невидимости, потом вновь разбухнет и поплынет над городом, подобно бугристой серебряной лепешке, и тогда Халаш будет знать, как легко говорить его богу шестью разными голосами. Как легко ему подобрать голос, подходящий для новых обстоятельств. Скажем, голос, похожий на кожу, снятую с теплой ночи, ласковый и возвышенный; ради одного слова, сказанного *так*, ниппурские женщины готовы были резать собственную плоть и вскрывать жилы. Или голос... странный, двоящийся, насмешливый и высокий, какими бывают звуки у мастера тростниковой флейты... если признать, что голос может уподобиться человеку, то этот голос прячет за спиной серебряную пластину и то и дело легонько ударяет в нее маленьким молоточком. Но в тот вечер под ущербным сверкающим хлебцем, на политой кровью земле у разбитой стены зазвучал голос повелений... И вроде бы он был не столь уж громким, но от первых же звуков боль стискивала беспощадным обручем головы ниппурцев, из ушей начинала капать кровь, из мышц уходила сила. Сам воздух, кажется дрожал, и дрожь передавалась телам людей. Не колокольчики, а барабаны раскатывались в словах господа из рода ануннаков, слуг лучезарного. Тысячи приглушенных барабанов, хозяева которых били так скоро, что скорее бить для человека невозможно.

— Я, Энлиль, беру старый город Ниппур со всеми душами в живущих телах. Слушай, город! Я владею тобой, воле моей нет препятствий. Ты моя вещь. Если скажу умереть — умрешь. Если велю сражаться — будешь сражаться. Если прикажу отдать все, чем владеешь ты сам, — отдашь.

Никто не смел перечить ему. Черные, слегка подсвеченные туши Нинхурсаг и Энмешарры скалами загораживали его спину. Голос защищал грудь не хуже бронзы. Страх и пролитая кровь держали ниппурцев крепче собачьего ошейника.

— Я, Энлиль, ставлю свою ногу на твою грудь, Ниппур. Желает ли кто-нибудь из тех, что населяют тебя, шевельнуться под моей стопой, показать свою силу?

Никто не пожелал.

— Я, Энлиль, вижу твою покорность. Я поселюсь в твоем храме, Ниппур. Не будешь ты, город, молиться Творцу. Не будешь поклоняться Творцу. Будешь сгибать колени передо мной. Дасть мне одежд, пищи, женщин и всего, чего я пожелаю. Изберу себе слуг, сколько нужно. Назову правителя. Дам тебе, старый город, новую мэ. Не желаешь ли возвысить голос против меня?

Халаш оглянулся. Все-таки на это могли решиться далеко не все. Но тогда никто не пошел в толпе. Лишь наутро стало известно о том, что еще две сотни ниппурцев ушли за городскую стену. Некоторые признались родне: поклоняться *такому* невозможно, страшно, преступно. Уж лучше оставить очаг за спиной, уйти из тела города и стать никем.

— Я, Энлиль, милостив к покорным. Сила моя безгранична. Но послушных рабов своих я пожалую. Ответь мне, Ниппур, куда уходят души тех, кто владеет твоей землей?

Куда… Творец их забирает, судит и дарит им мэ в мире своем, далеко отсюда. Суд его строг, но он любит свое творение и, наверное, не будет чересчур жесток, определяя посмертный жребий души. Так, во всяком случае, говорил первосвященник. Каждый ниппурец впитывал это предначертание чуть ли не с молоком матери. Впрочем, кто знает пути Творца… Говорят, он добр. Говорят, он не жалует злых дел и сам не творит их. Но никто в точности не скажет, как именно Он понимает добро и зло. Остается верить в его любовь и мудрость, как верит маленький ребенок, почти младенец, в любовь и мудрость своей матери. Вот почему поклонялись до сих пор в старом городе Ниппуре.

Что ответить новому богу? Веру нипурскую и всей благословенной земли Алларуад, подаренной Творцом, *этот* и сам, видно, знает… Кто должен ему отвечать? Был бы здесь первосвященник, ответил бы, как полагается. Был бы лугаль, тоже, наверное, сказал бы, что надо. Толпа молчит, толпа робеет.

И все-таки вышла вперед одна женщина, Мамма из квартала кожевников, полукровка, пришедшая от семьи суммэрк. Мать четверых детей, полная, грузная, с черными прямыми волосами, поблескивавшими в факельном свете. Муж ее, мастер Нарт, любитель сикеры каких поискать, все хвастался в питейном доме, сколь ласковы ее руки… Частенько жители квартала склоняли перед ней голову: кажется, само дыхание Маммы исполнено было щедрой женской силы, которой нетрудно и приятно подчиняться. Таких людей не много в Ниппуре… горожане говорят, что следы их сандалий прорастают цветами. Мамма тихо ответствовала Энлилю:

– Куда души уходят, Творец знает. Оба вы сильные. Но его я люблю, а тебя боюсь. Ты страх, и больше ничего.

– Ниппур! Ты знаешь, как ответить.

Ну, город городом, а Халаш знал ответ. Он подошел к черноволосой сзади. Мамма было начала поворачиваться на шум шагов, и в тот же миг смертоносная бронза глубоко вошла ей в бок. Халаш так и хотел: не убивать сразу. Пусть-ка поймет всеми кишками, что ее власть здесь тоже кончилась. Однако Мамма как будто предвидела свою судьбу. Как будто загодя подготовилась к смерти. Для чего было заглядывать в глаза собственной гибели? Что можно увидеть в глазах смерти, кроме смерти? Что светится темным огнем в глазах душегуба, кроме убийства? О нет. Мамма успела еще об-; вести взглядом черные силуэты крыши. Этот город был с нею нежен. Эта земля ластилась к ее ступням.

– Здесь было так весело…

Халаш сделал в тяжелом женском теле еще четыре дыры. Кровь Маммы пала на его одежду, впиталась в нее и смешалась с кровью молодого лугала. Такова была последняя любовь жены кожевника Нарта.

Иногда случается так, что, смерть сближает очень разных людей, при жизни едва знавших друг друга.

бинные сути их вольно смешиваются, уже не нуждаясь в телах… Князь ниппурский и Мамма, быть может, не перемолвились и десятком слов. Но было в них, надо полагать, нечто нерасторжимое. Энлиль:

– Я прощаю твой бунт, Ниппур. Ты сам исправил свою вину.

Никто из горожан не посмел поднять глаза.

– Я, Энлиль, желаю дать тебе, Ниппур, драгоценный совет. Знаю я, что бог твой прежний, которого вы именовали Творцам, всего лишь ловкий маг. У него в крови нет ничего божественного, он рожден матерью. Слава его велика, но он всего-навсего человек и подвластен смерти. Я – бог истинный и силой своей могу творить великие чудеса. Спрашивал я, куда отправляются души ваших умерших. Ты не знаешь, раб мой город. Ты ждешь какого-то суда, Ниппур. Так я покажу тебе и всем, чьи дома объяты твоей стеной, куда именно уходят души, когда мэ прерывается…

...Спустя две луны после первой встречи Халаша и Энлиля новый лугаль ниппурский как-то спросил у ануунака: отчего тот обращался с речью не к ниппурцам, а к городу? Тот ответил своему любимцу: мол, что за глупость! – несолидно для бога в день первого знакомства устанавливать столь фамильярные отношения со своими рабами. «М-м-м», – прокомментировал ответ Энлиля главнейший его раб...

– Я, Энлиль, поднимаю завесу тайного! – И действительно, голосистый мужчина в обносках Анкарта сделал рукой движение, словно убрал какую-то невидимую преграду перед толпой.

А! Была ночь. Обыкновенная ночь месяца уллулта. Тьма. Невыносимая духота сушила глотки. Но на город опустилась иная мгла, как будто тень истинной ночи, ночи ночей. И подернутая маревом серая водянистая плоть этой тени показалась ниппурцам чернее и гуще и предполуночной тьмы.

– Я, Энлиль, владелец города Ниппур, дарю тебе, мое имущество, слово. Это слово *уцурту*. Так зови, Ниппур, и все, кто тебя населяет, чертеж мэ от рождения и до смерти, а также и после смерти. Чертеж, ибо все предопределено богами с начала и до самого конца. Уцурту людей – служить и терпеть. Большего никому из них не позволено. Вот что такое посмертная мэ.

На колеблющемся полотне великой тени показались размытые пятна, силуэты... фигуры? Изображение становилось все отчетливее.

Большая тростниковая лодка. Столь большая, что никто в старом Ниппуре не сумел бы построить такую же. Высокий худой человек в одежде, сделанной из тонкой льняной ткани и украшенной золотыми пластинами. На голове его шлем из желтого металла, за поясом тяжелый топор. Он вяло пошевеливает рулевым веслом. Тем не менее лодка быстро идет поперек течения великой реки – берегов ее не видно. Судно битком набито обнаженными людьми, мужчины и женщины перемешаны, и все они стоят в странном оцепенении, не в силах двинуть рукой или переставить ногу. Плоть нежная и плоть грубая поставлены рядом. Кожа тоные чистой воды и кожа тверже старой циновки трутся друг о друга. Лица исказены страхом, досадой, гневом, печалью. Нет улыбающихся лиц...

Понятно, сообразил тогда Халаш, если бы они могли сражаться» такая куча живо осилила бы одного перевозчика, хотя бы и голыми руками против топора. Видно, этот – тоже какой-нибудь бог. Держит их невидимой: силой.

Среди прочих стояли в лодке и Анкарт, и его солдаты, и первосвященник, и Флорт, и многие другие ниппурцы, павшие сегодня у бреши в городской стене. Тела их еще не прибраны, а души... вот они, души. Черноусый лугаль – здесь же, у самого борта. И Мамма рядом с ним, бок о бок.

– Ниппур! Имя того, кто перевезет души твоих насељников из жизни в смерть, – Уршанаби. Единственный речной перевозчик, который не берет никого в обратную сторону, ибо смерть – это *Кур-ну-ги*, Земля, откуда нет возврата.

Корабль смерти скоро измерил пространство, отделяющее царство живых от царства мертвых. Нос его дрогнул на мелководье. Ладья остановилась, и тут вся толпа, взглянувшая в уцурту посмертья, ахнула: побережье Кур-ну-ги на десять локтей выложено было хлебными лепешками, покрытыми густым слоем плесени. Выходит, и вправду, смерть безнадежна, раз хлеб не полагается ушедшим душам... Хлеб! Хлеб напрасно гибнет, и никому нет до этого дела...

Уршанаби выгрузил души, как бревна, таская их на плече, и оттолкнулся веслом. Лодка пошла обратно. Души сейчас же обрели признаки жизни. Кто-то метнулся было в реку, но перевозчика было не догнать. Кто-то заплакал. Кто-то лег и попытался заснуть, видно, жизнь наполнила его душу усталостью. Но в смерти не бывает снов, и глаза мертвцев *не забывались*...

Все собравшиеся на берегу были зрелыми людьми. Наверное, в посмертьи они вновь обретали тела времен собственного расцвета – вместо старицкого. А те, кто ушел из жизни в

детском возрасте, становились за порогом такими, какими должны были стать на другом берегу через десять, пятнадцать или двадцать солнечных кругов после того, как мэ их прервалась.

Душам не позволили разбрестись. Скоро их окружила стая огромных рыкающих львов. Ас неба... или нет, сверху откуда-то, нет неба в смерти, нет солнца и луны, а есть только высокий сумеречный потолок, — так вот, оттуда, с потолка, явилась стая крылатых баранов с копьями. Тыча остриями в человеческие тела, бараны погнали людей к высокой стене из серого камня. Львы следовали по сторонам, никому не давая отделиться от общей толпы и сбежать. И души, подчиняясь копейным уколам, почти бежали. Потому что *боль в смерти есть*.

Все они, дойдя до стены, двинулись вдоль земляного вала. Ни единой травинки не росло на скользкой глинистой почве. Сырой туман висел так низко, что за ним едва-едва угадывались каменные зубцы и башни. Бараны и львы остановили человеческое стадо у ворот. Створки... странные створки из того же серого камня, как будто закрой ворота — и стена сомкнется, не оставив ни трещинки на месте ворот... Так вот, створки были распахнуты наружу. Над воротной аркой грубо вытесан знак «*оттаэ*» — восемь. Выходит, для жителей земли Алларуад здесь приспособлены особые ворота. Может быть, людей суммэрк принимают под шестеркой, а горцев, старший народ, удостоили единицы... Впрочем, какая разница для мертвеца, где стоять и куда идти, ведь отсюда нет возврата.

Сразу за воротами открылся широкий, двор, мощенный диким горным камнем, столь драгоценным во всей земле Алларуад — от моря и до самого канала Агадир и полночного вала. Посреди двора стояло восемь кресел из черного металла. Такого не знал никто из ниппурцев. На возвышении — трон, искусно вырезанный из кости, а что за кость, думать не хочется... За троном, шагах в десяти, — двухэтажный дом. Преужасный! — Поскольку собран он весь из того же черного металла, поседевшего (видно, от старости) рыжими пятнами. Прямо на стене его грубо намалеван чем-то алым все тот же знак «*оттаэ*», что и на воротах. За ним — бесконечная равнина, даль ее укрыта густым серым туманом.

Из железного дома вышла женщина в одеянии, которое любит у суммэрк: четыре короткие юбки, сшитые из широких полос кожи неравной длины и надетые одна поверх другой. Выше пояса она была обнажена, и с телом ее происходило странное: контуры груди, плеч, рук слегка расплывались, и сколько мужчины из толпы мертвецов ни пытались разглядеть подробности, ничего не получалось; но каждый из них почему-то подумал, что при жизни не видел никого прекраснее. Смотрели на лицо. С ним тоже... творилось непонятное. Никто не умел остановить взгляд на подбородке, на носу или на лбу. Не получалось. Огромные глаза, миндалевидные, как у полночных кочевников. Выкаченные белки и темные пятна чудовищно больших зрачков с радужками... Слишком больших для человека. Так вот, глаза приковывали к себе все внимание, нимало не оставляя его для прочего. Глаза... невообразимо хороши, так хороши, что даже ужасны. Чего больше в них — красоты или угрозы?

Женщина хлопнула в ладоши. Села в одно из восьми кресел и принялась раскладывать на коленях рабочий прибор писца. Есть такой обычай в земле Алларуад: женщинам позволено выполнять работу писцов. Так, значит, и в тех местах, где судят души умерших алларуадцев, этот обычай соблюдается...

Из железного дома вышли двое мужчин, похожих на Энлиля как две капли воды. Они заняли еще два кресла. Один из них поставил перед креслом маленькую деревянную скамеечку для ног, но скамеечка оказалась слишком узкой, и левая ступня в сандалии то и дело соскальзывала вниз. Мужчина сделал неуловимо быстрое движение рукой. Сейчас же вместо двух ног на скамеечку лежал толстый рыбий хвост, отросший прямо из торса.

Затем появились четыре раба с носилками, на которых возлежала худая изможденная старуха — кожа клочьями свисает с черепа. На голове у нее серебряная диадема: толстый обруч грубой работы, один высокий треугольный зуб спереди, надо лбом, а из этого зуба торчат четыре

пары изогнутых кверху рогов. Диадема украшена сердоликом, лазуритом и сверкающими камнями, имя которых Ниппуру неизвестно. Рабы сажают старуху на трон.

…Однажды Энлиль ответит на очередной вопрос любопытствующего Халаша, почему, мол, остались пусты прочие кресла: «О! Чего ради мы не сделали лугалем Кадана? Наверняка он был бы сообразительнее тебя. Все так просто! Милейший пастух… ээ… лугаль! Нас там нет, потому что мы здесь…» А почему восьмерка? Что в ней за тайный смысл? "А потому, дражайший повелитель овец… ээ… ниппурцев, что ворота для вашей дохлятины – как раз между седьмыми и девятыми. Им-то и пристало быть восьмыми".

Рабы выносят восемь скипетров, каждый по три локтя длинной. Скипетр из кедра и скипетр из кипариса, скипетр из клена и скипетр из самшита, скипетр из серебра и скипетр из золота, скипетр из бледного золота, в котором часть долей истинно золотые, часть же – из чистого серебра, и скипетр из черного металла. Рабы становятся по бокам трона, у одного из них старуха молниеносным движением выхватывает черный скипетр; ее длинные бледные пальцы цепко держат тяжелый цилиндр, испещренный рисунками и письменами. Царица подземного мира открывает рот, шевелятся ее лиловые губы, приходят в движение объедки беззубых десен, но голос тонок и приятен, как у маленькой девочки:

– Возлюбленная дочь моя, Гештинанна, великий писец Земли, откуда нет возврата, искуснейшая в своем ремесле, прекраснейшая из дев Царства мертвых, чей взгляд обещает сладкую смерть, чья рука выводит уцурту душ, перевезенных сюда кораблем Уршанаби, тебя спрашиваю: сколько прерванных мэ явилось сюда, из каких мест пришли они к последнему причалу и какого они рода?

Большеглазая красотка:

– О блистательная мать моя, Эрешкигаль, дающая истинную силу, хозяйка Двора судилица, правительница Земли, откуда нет возврата, царица нижних чертогов, подательница искусства в темных обрядах и советчица женщин, страждущих тайного знания, неистовых плясок и власти, растущей из земли, тебе отвечаю: их тридцать шесть раз по тридцать шесть; прерванные мэ пришли к последнему причалу из земли Иллуруду, именуемой нечестивыми Алларуд; некоторые из Баб-Аллона и Сиппара, Лагаша и Уммы, Барсиппы и Эреду, Эшнунны и Урука, Ура и Кисуры, но более всего из Ниппура; семьдесят два и три из них – из рода людей суммэрк, честных и чистых рабов твоих; шесть и два из них – из рода полночных кочевников, не знающих богов; два – из рода хозяев гор, старших людей, ведающих чистые обряды; прочие же – простые подданные Царства, обманутые Творцом.

Эрешкигаль, для которой, как видно, вся эта церемония была делом обыкновенным, обратилась к «энлилям»:

– Вернейшие мои слуги, судьи-ануннаки, род преданный лучезарному и помощникам его, скоро повинующийся и служащий давно, род украшенный заслугами, вас спрашиваю: есть ли среди пришедших к последнему причалу те, кто достоин лучшей доли?

Судьи встали. Рабы с бичами принялись нахлестывать человечье стадо, строя его в шесть рядов. Ануннаки быстрым шагом обходили мертвцев, начав один с заднего ряда, другой – с переднего. Они то ли всматривались в глаза, то ли принюхивались, то ли отыскивали одним лишь им известные приметы. Тот, мимо кого проходил ануннак, валился лицом вниз и застывал. Кое-кого, очень редко, может быть, одного из сотни или полусотни мертвцев, они поддерживали руками, не давая упасть. Такие стояли, подобно пальмам на поле боя, окруженные неподвижными телами. Наконец обход завершился. Один из судей поклонился старухе и заговорил:

– О, могучая и пресветлая владычица наша, Эрешкигаль, дающая истинную силу, хозяйка Двора судилица, правительница Земли, откуда нет возврата, царица нижних чертогов, подательница искусства в темных обрядах и советчица женщин, страждущих тайного знания, неистовых плясок и власти, растущей из земли, тебе отвечаем: никто из нечестивцев, обману-

тых Творцом, лучшей доли не достоин; шесть раз по шесть и пять людей суммэрк лучшей доли недостойны; один кочевник лучшей доли недостоин; про старший народ знаешь сама; пять раз по шесть и три людей суммэрк имеют добрых наследников – восьмь их ушедшим душам принесены жертвы; один человек суммэрк и одна! кочевник могут быть записаны в рабы, потому что пригодны к службе лучезарному.

Эрешкигаль нахмурилась. Ответ не порадовал ее. Халаш задумался: не желает ли старая стерва больше рабов? И какие такие заслуги нужны человеку, чтобы его заметили в Земле, откуда нет возврата, и возвысили званием раба на службе у лучезарного? А! А! Вот, выходит, какие! – Тот единственный человек суммэрк, которому дарована была эта милость, показался знакомым Халашу. Конечно. Именно он крикнул: «Бей!» – когда мятеж ниппурский едва тлел. Крикнул вместе с Халашем, Каданом и Флортом. Убитый лугалем Флорт тоже должен быть где-то там, в толпе, но ему одного крика не хватило для возвышения. Не жалуют, выходит, царевых подданных на том берегу… Больше, выходит, надо стараться.

Старуха отверзла уста:

– Вы, нечестивые, и вы, люди суммэрк, нерадивые рабы, хотя и чтите истинных богов, но верность ваша зыбка, обращаю к вам свой гнев! Души ваши достойны нижних чертогов. Ступайте туда. Хлеб ваш будет горек и тверд. Вода ваша будет солона и загрязнена нечистотами. Воздух, которым будете дышать там, наполнен зловонием. Свет больше не достигнет ваших глаз. Это мое владение, и под стопой моей будете выть. К вам нет ни милости, ни пощады. Век ваш отныне наполнен муками и никогда не прервется. Стража!

Эрешкигаль сделала паузу. Львы, бараны и рабы с бичами подняли укусами и ударами ранее неподвижные тела, сбили их в кучу и погнали к дому.

– Вы, люди суммэрк, чьи наследники и родня желают доброго ушедшим душам. Уцурту вашей посмертной мэ некрасив. Будете утруждены и покоритесь всякой нижайшей твари Царства моего. Но в пище и воде ущерба не потерпите. Ваш путь – в верхние чертоги, к владыке Нергалу… и передайте этому разгильдяю, что больше я за него дежурства отсиживать тут не собираюсь!

Легкий бег тростинки в руках Гештинанны остановился. Судьи застыли в своих креслах, отвернув лица от диадемоносной монархии. Впрочем, та быстро осознала промашку. «Чего не бывает со старыми… ээ… богами» – так по прошествии многих дней Энлиль прокомментирует Халашу этот маленький конфуз.

– Стража!

Увели верхнечертожников.

Перед троном теперь стояло четверо. Царица мертвых:

– Вы, старший народ, к вам обращаю я речь… – Она утомленно вздохнула и продолжила гораздо более буднично: – Как обычно. Поработаете тут у меня, пока новые тела не будут готовы… Может, шареха три.

Двое недовольно переглянулись.

– Но, пресветлая владычица…

– Цыц! Много стали на себя брать.

Два «хозяина гор» удалились безо всякой стражи.

– Теперь вы, не обойденные милостию! Служили вы Творцу, ясно, как служили, иначе уцурту вышел бы вам другой. Желаете ли ходить под моей рукой?

– Желаем! Желаем!

– Гештинанна, забирай.

И напоследок, скороговоркой:

– Слуги мои и рабы! Во имя лучезарного, во имя Ала могучего, во имя силы его, суд мой справедлив. Возлагаю последнюю печать на уцурту осужденных.

…Серый занавес исчез над Ниппуром. И показалась ниппурцам ночь светлой.

— Я, Энлиль, твой владыка, старый Ниппур, дарю тебе свет истины. Нет никакого суда над душами тех, кто населяет тебя, помимо суда пресветлой царицы Кур-ну-ги, госпожи Эрешки-галь. Воистину, обмануты вы и унижены, ибо души всех ниппурцев получают в Земле, откуда нет возврата, худший уцрут: им суждено жить в нижних чертогах, во мраке, голоде и мучениях. Отныне я научу тебя, Ниппур, как провожать души твоих людей в Царство мертвых и как доставлять им добрую пищу, питье и прочее. Как славить истинных богов, какой заключать с ними договор, каким способом приходить к ним на службу и как добиваться их помощи. До сих пор ходил ты во тьме, теперь познаешь свет.

И закончил:

— Ты можешь убирать тела мертвцев, а потом Отдыхать, мой город. Завтра, после захода Син, все жители твои соберутся на площади у храма. Я изберу себе слуг.

...И все-таки не поверил Энлилю Халаш. И духи его шептали ему в уши: мол, какая разница? Следует приблизиться к силе, сила возвысит. А уж что она тебе говорит — не столь важно. Какой торговец не хвалит свой товар, но много ль правды в такой похвале? Первосвященник говорил одно, Энлиль показал другое, а Халашева простая вера, какую дарит кочевникам неласковое сердце степей и пустынь, предполагала, что все обстоит куда проще. Умер человек и умер, какая в нем душа? Было его тело живым, а стало падалью. Если голоден род, мертвца можно бы съесть. Если нет, следует бросить его зверям и птицам. Падаль — их законная пища. Что мудрить! Забирайся выше, пока жив...

Лукавый Энлиль, открывая исток мятежа, скажет ему: «О, лугаль, потрясающий копьем, способный закопать все колодцы страны и накормить глотку ее пылью... Разумеется, ты видишь в том маленьком торжестве, которое я устроил в первый вечер моего владычества в Ниппуре, один обман. Представление, которым, бывает, забавляют народ музыканты, певцы, плясуны... только половчее. Не отвечай, я и так знаю. Милейший! Так вышло, что именно твоя вера мне нужна меньше всего. Ты мой... ты наш от макушки до пят безо всякой веры. Тебе и не нужно знать, сколько было правды в моей живой картинке. Просто делай, что велю, когда велю и как велю. С тебя достаточно».

А потом пояснил суть дела. Ан желает утвердить власть свою в Царстве. Желает появиться там во всем великолепии на царском троне. Но не может, потому что его сдерживает древнее проклятие, наложенное магом Творцом. Как преодолеть его? Нужен особенный обряд. «Баб-Аллон» — значит «ворота бога». И главные ворота столицы называются точно так же. Когда через них в город одновременно войдут шесть людей, несущих каждый в левой ладони кольцо с печатью Ана, а в правой чашу с кровью того, кто сопротивлялся Ану так или иначе и творил препоны победе его слуг, дело будет почти сделано. Им останется обернуться, выпить кровь на кирпич ворот и наречь их «Баб-Ану», ворота Ана... Именно люди? Да, именно люди, только люди и никто, кроме них. Нам, ануннакам, например, бесполезно туда соваться. Видишь, все очень просто. Правда, там видимо-невидимо стражи, и еще тою хуже — вместе со стражей стоят слуги столичного первосвященника, а они довольно прозорливы для людей... Так что хитростью не выйдет. Да, уже пробовали. Но вместе с Ниппуром будут и другие города. Урук, Лагаш... прочие, может быть. Туда Энмешарра приведет иных ануннаков, а те посадят лугалей, каких надо.

— Принимаешь? — спросил он Халаша, протягивая перстень.

— Да.

На перстне красовалась тринадцатилучевая звезда — Халаш понял Энлиля по-своему. Кольца, да. Очень хорою. Нужен обряд. Понятно. Еще того нужнее сильное войско борцов под знаменем Баб-Ану. Очень сильное войско. А когда Баб-Аллон падет, там уж хоть с кольцами ходи, хоть на золоте сиди... Пусть это называется обряд с кольцами. Да пусть хоть как называется... Надо начать большое выгодное дело.

...И вот теперь все это позади. Дело, начавшееся так славно, окончилось крахом. Мэ, раз переломившись, утратила твердость, и ветер жизни потащил ее без чина и порядка, не обещая укоренить где-нибудь. Халаш лежал на траве лицом кверху и приглядывался к злому умному волку Рату Дугану. Да и волк изучал его. Занималось блеклое утро, нежная худышка Син держала: оборону на самом кончике небесной таблицы – совершенно так же, как и вчера, когда великое воинство борцов Баб-Ану стояло во всей славе и силе на равнине между каналами, ожидая приказа к первому натиску Ушла всего одна доля, и вместе с ней иссякла сила, кончилась слава, одноглазые свершили суд над слепыми... Руки! Проклятые руки связаны за спиной, Как они посмели!

Ненавижу. Почему они ломают нам хребет, а не мы – им? Чем достойнее они? Почему их ноги попирают наши спины, почему не мы повелеваем ими? Почему моя воля порушена? Ненавижу.

– Я ненавижу вас всех. От царя до последнего солдата. – Бывший лугаль ниппурский произнес это по-бабаллонски, громко, отчетливо, чтобы услышали и поняли все присутствующие. Двое копейщиков, приставленных держать его, заухмылялись. Лекарь, занятый своим делом, не обратил внимания. Лицо эбиха осталось бесстрастным.

– Слышишь меня, Рат Дуган! Я запомнил твое лицо. Ты знаешь, я останусь жив, и ты должен отпустить меня после того, как изуродуешь. Так велел тебе твой царь, а ты все исполнишь. Так знай, за всех и за себя я отомщу тебе одному. Мне не жаль моей жизни. Найду тебя и вырву твои поганые волчьи глаза. Слышишь, ты! Жди меня. Я никогда не отступлюсь.

Эбих вымолвил с безразличием в голосе:

– Я знаю.

Глаза его спокойны. Пса наказывают, пес визжит...

Тогда Халаш проклял его и весь его род до третьего колена самыми крепкими и ужасными проклятиями, какие только знал. Эбих как будто не слышал его.

– Пей! Будет не так больно... – Лекарь поднес к губам Халаша глиняную плошку с бурой жижицей. Четыре глотка живой горечи. Потом опустился на колени, натер его мужскую гордость и вокруг нее какой-то дрянью, так что все там занемело, словно умерло.

– Эбих! Позволь вопрос.

Рат Дуган медленно кивнул. Валяй, мол.

– Почему мы никак не могли поразить черную пехоту? Ни издалека, ни в ближнем бою. О, лучезарный Ану! Я не понимаю. Да хоть руку мою забери, эбих, вместе с этим, но объясни, в чем тут дело...

Усмешка чуть искривила губы полководца. Его спрашивали об очевидном.

– Вор, ты ведь из купцов? По ухваткам вижу. В тамкарь не вышел, но торговый человек.

– Ты прав, палач.

– Твоя мэ – лодки и караваны, меры и гири, серебро и зерно. Отчего ты решился возложить на себя диадему правителя и взять в руку меч воина? Ведь ты купец. Ты захотел переменить мэ, потому что не сумел высоко подняться, придерживаясь собственной. Будь ты усерднее в своем деле и в своей судьбе, не захотел бы бунтовать. Ведь тогда ты стоял бы выше. Хотя бы тамкаром стал. Но ты пожелал взять много, быстро и без труда...

– Ты не хозяин, я не раб твой. Оставь поучения, эбих! Просто – объясни.

– Я объясняю. Нет никакого секрета. У черных пешцов мэ воина начинается с рождения. Они смертны, их можно ранить, победить, уничтожить. Но до сих пор никто не мог ни победить, ни уничтожить их, потому что они *очень усердны*. Весь их день от восхода до заката отдан мэ воина. Сравни себя... всех вас, не сумевших как следует научиться своему делу и взявшихся за чужое. Кто вы перед ними? Трава и дерево... Ты готов?

– Ненавижу... Говорю тебе без гнева. Ненавижу тебя, их всех, вашего царя ... ты понял меня. За вашу высоту и надменность, за *вашие усердие*.

— Теперь это не важно. Ты готов. Это должно быть почти не больно.  
И все-таки он не выдержал и закричал.

## Щит Агадирта 2508–2509 круги солнца от Сотворения мира

*Сидури-хозяйка вещает Гильгамешу:*  
...Ты, Гильгамеш, насыщай желудок,  
Днем и ночью да будешь ты весел,  
Праздник справляй ежедневно,  
Днем и ночью да будут твои одежды и волосы  
Чисты. Водой омывайся,  
Гляди, как дитя твою руку держит,  
Своими объятьями радуй супругу –  
Только в этом дело человека!

*Эпос о Гильгамеше*

*Гонец, точно осел, с которого срезали выюк, помчался. Точно молодой степной осел, резвый и быстрый, он скачет, лицо свое к туче поднимает.*

*Энмеркар и верховный жрец Аратты*

2-го дня месяца симана, в полуденный час, туча светлой пыли поднялась над холмом напротив главных ворот Баб-Аллона. Перевалила вершину и встала в полуслете стрелы от городских стен, клубясь и посверкивая ослепительными молниями шлемов.

Апасуд поднял копье с конским хвостом белого цвета – старинный знак, еще до Исхода обозначавший победу. Он ехал бок о бок с братом в голове войска. Младшие офицеры тут же остановили передний отряд пеших копейщиков. «Сто-о-о-ой!» – прокатилось по бесконечной веревке армии из конца в конец. Пеши, шеренга за шеренгой, смирили усталый шаг, конники придержали лошадей, колеса обозных телег перестали скрипеть. Грязные тряпки, до половины закрывавшие лица победителей, обрели неподвижность. На время пяти ударов сердца тишина плыла над войском. Один только шепот дорожной пыли, оседающей на серые лица, на шлемы, одежду и оружие...

Бал-Гаммаст, несообразно величию момента, подумал: хорошо бы замостить все-таки главные дороги, как мечтал еще прадедушка, государь Кан II Хитрец. А то в сушь – пыль, в дожди – грязь... Надо подсказать братцу, пускай займется. Пора.

Городская стража, глядевшая с башен столицы на царское войско, давно знала, как и все жители баб-аллонские, о победе над мятежным Полднем державы. Царица Лиллу, ныне жена покойника, два дня колебалась: чего должно быть больше, когда вернется войско, – праздника или траура? Воистину, великая победа. Мятеж, на протяжении семи лун, еще с месяца уллут, царственно колосившийся по всей благословленной земле Алларуад, благодарение Творцу, сжат и обмолочен. Урожая голов довольно для успокоения страны. Но как мало вернулось победителей! Горький чад потерь осел в городах и селениях. И государь погиб... Так горевать или веселиться?

Бал-Гаммаст припомнил: однажды армия царя Уггал-Банада I – а знали его больше по прозвищу Львиная Грива – вернулась из похода на дальнюю Полночь, оставив там четырех солдат из каждого пяти. В обратный путь вел ее мертвец. Труп царя ехал впереди войска на повозке, запряженной ослами. Но и тогда земля Алларуад одолела, и все полночное приграничье очистилось от очередной кочевой орды... Задумывался ли кто-нибудь *в ту пору*, как встретить победителей? Нет. Венки из трав и цветов были на головах у воинов из первого отряда, входившего в город, и бабаллонцы славший храбрецов, лили им под ноги вино, бросали на дорогу ячменные лепешки...

«Столько времени прошло с тех пор! Как видно, веселье обмелело в Царстве...» – размышлял царевич, глядя на створки воршу медленно расходившиеся в стороны.

Эбих черной пехоты Уггал Карн возглавил войско, шедшее от Киша. Царица Лиллу велела ему передать: город Баб-Аллон встретит солдат как пожелает. Она сама не имеет сил устроить какое-либо торжество. Захочет столица выть – значит, такова ее воля. Захочет петь – и в этом вольна. Сама Лиллу не выйдет встречать победителей к воротам, потому что скорбит о муже, но встанет на дворцовую стену, и каждый воин сможет увидеть ее. Все войско пройдет мимо цитадели Лазурного дворца, где издавна живут государи земли Алларуад. Странная почесть, но все-таки почесть... Уггал Карн, слабый, как щенок, едва ли не полумертвый от раны, оставленной ниппурским копьем, усмехнувшись, заметил: «Когда ты хочешь пира, вина и сикеры, мяса и хлеба, молока и меда, а тебе предлагают плошку с водой, выпей хотя бы воды».

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочтите эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.